Дженет Фрейм

XX век
The BEST

Лица в воде

[роман]



Лица в воде
Дженет Фрейм

Аннотация
Дженет Фрейм. Лица в воде
Часть I. Клифхейвен
1
2
3
4
5
6
7
8
Часть II. Трикрофт
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Часть III. Клифхейвен

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Аннотация

В двадцать лет Истина Мавет почувствовала непреодолимую пропасть между собой и остальными, и, утратив связь с реальностью, она несколько раз оказывается в психиатрических лечебницах, которые воспринимает не иначе как камеры пыток.

Она – жертва и вместе с тем свидетельница. Чередой проходят перед нами образы несчастных – каждой по-своему – пациенток. Унылая повседневная рутина. Наказания. Кошмар и боль шоковой терапии. Страх. Беспомощность. Одиночество.

Дженет Фрейм
Лица в воде

Janet Frame
Faces in the Water

© Janet Frame, 1961
© Перевод. Л. Волобаева, 2018
© Перевод, стихи. Н. Сидемон-Эристави, 2022
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

* * *

Посвящается Р. Г.К.

Хотя эта книга написана в документальной форме, она является художественным произведением. Ни один из персонажей, включая Истину Мавет, не изображает реального человека.

Дженет Фрейм, 1961

Часть I. Клифхейвен

1

Нас учили, что Безопасность — наш господин, которому должно сохранять преданность, наш Красный Крест, который дарует мази и бинты для врачевания ран и заботится об удалении инородных идей, бус из фантазий и булавок неразумности, попавших в наши головы. На все двери, что вели во внешний мир, были приколочены предупредительные знаки и перечни мер реагирования в чрезвычайных ситуациях. На случай грозы, заточения во льдах Антарктики, змеиного укуса, мятежа, землетрясения. Не ложитесь спать в сугробах. Убирайте ножницы в безопасное место. Остерегайтесь незнакомцев. Заблудившись, определяйте время по солнцу, а местоположение — по рекам, текущим по направлению к морю. Не сопротивляйтесь, когда вас спасают из воды. Попытайтесь высосать яд из места укуса. Если разверзается земля и шатаются трубы, покиньте помещение. Однако на случай последнего дня, когда, как солнце, померкнут смотрящие из окон, указания отсутствовали. На улицах будет толчея: в панике люди будут смотреть сначала направо, потом налево, убирать ножницы, высасывать яд

из раны, которую не смогут найти, и определять время по солнцу, когда само оно расплавилось и стекает по кромке тьмы в опустевшие чаши, образовавшиеся на месте испарившихся морей.

И пока не наступил тот день, как отыскать свой путь во снах и грезах, как уберечь себя от их опасной реальности — от молний-змей-микробов-мятежей-землетрясений-метели-грязи, когда вши загадками ползают по нашему разуму? Скорее! Где тут Спаситель Красный Крест с мазями, гипсом, иглой, нитью и чистыми бинтами, нужными нам, чтобы иссушить нагнивающие мечты? Соблюдайте правила Безопасности.

Я расскажу вам о временах, когда на меня обрушились невзгоды. Меня поместили в больницу из-за огромной трещины, что образовалась во льдах и отделила меня от остального мира; я смотрела, как по лиловым волнам, в глубине которых с беззаботностью тропических рыб акулы-молоты курсировали бок о бок с тюленями и белыми медведями, уплывали от меня люди. Я осталась одна на своей льдине. Началась пурга, я коченела, хотела лечь и уснуть; впрочем, так бы и сделала, если бы не появились незнакомцы с ножницами, кишащими блохами котомками, склянками с ядом и прочими предметами, об

опасности которых я до этого не подозревала: зеркалами, халатами, коридорами, мебелью, квадратными дюймами, долгим молчанием за засовами — одноцветным и в узорчик, бесплатными образцами голосов. Не произнеся ни слова, они установили надо мной марлевую палатку, разбили рядом свой лагерь и стали предлагать губительный товар.

Мне нравился шоколад «Карамелло», ведь я была одинока. Я покупала двенадцать подушечек за шесть пенсов. Шла на кладбище и сидела среди букетов хризантем, оставленных в заполненных бурой водой и покрытых грязью банках из-под джема. Гуляла по темному городу, бродила вдоль мерцающих трамвайных путей, которые, пленив свет уличных фонарей, разбивали его на множество лучей; проезжающий мимо трамвай выбивал над головой нечаянную искру, и она рассыпалась радугой — тогда я понимала, что глаза мои заволокли слезы. Со мной говорили витрины, и искусственный дождь за окном рыбного магазина, и мох с папоротником в лавочке флориста, и неряшливые, вышедшие из моды костюмы-двойки в компании старомодных пальто, висевшие на постаревших гипсовых манекенах в темных витринах небогатых магазинов,

хаотично заставленных товарами с большими красными этикетками, кричавшими о скидках. Все они говорили со мной. Остерегайся распродаж и специальных предложений. Соблюдай правила дорожного движения и гигиены; если найдешь платок, подними его кончиками пальцев и держи так, пока не объявится хозяин. От бронхита помогает ингаляция с яванским ладаном. Не садись на унитаз в общественном туалете. Осторожно! ЛЭП.

Как туземец, я обменяла свою безопасность на бусы из фантазий.

Я работала учительницей. Когда я шла домой, директор следовал за мной; чтобы утроить угрозу, он разделил свои тело и лицо на три части — и меня стали сопровождать три сущности: две по бокам и еще одна сзади. Раз или два я робко оборачивалась и спрашивала, не хочет ли он звездочку за примерное поведение. Целую ночь я провела у себя в комнате, вырезая звезды из золоченой бумаги, крепя их на стены и напротив лучшего платяного шкафа домовладелицы, на изголовье, лицо и глаза ее пружинного дивана, пока не оклеила все вокруг, пока комната не стала моим собственным ночным небом, моим оберегом от трех директоров, которые каждое

утро заставляли меня пить чай в учительской, соблюдая приличия, и крались на цыпочках вдоль клумбы из бархатцев, язвительно раздавая советы и рассыпаясь банальностями. Мне казалось, предлагая поощрение за хорошее поведение, я смогла бы надежно заточить их в бумажной галактике, тогда как на самом деле все награды, гарантии, обереги, страховки, что я раздаривала, я давала лишь самой себе, потому что корень зла скрывался во мне, потому что слышно и видно было только меня, потому что первой заговорила я, до того как ко мне обратились, потому что самостоятельно, когда никто не просил, купила угощения — и включила их в счет.

Комната провоняла гигиеническими прокладками. Я не знала, как от них избавиться, и поэтому прятала в ящиках туалетного столика из орехового дерева, который принадлежал домовладелице, — и в верхнем, и в среднем, и в нижнем; повсюду был тошнотворный запах засохшей крови, несвежей еды из внутреннего дома, который стоял пустым: без съемщиков, без мебели, без надежды, что когда-либо его сдадут в аренду.

Директор хлопал крыльями; имя его было созвучно слову «коршун», и давало оно власть над

мертвыми, власть тревожить кости павших в пустыне.

Я заглотила звездный поток (ничего сложного) и уснула сном примерного ученика и отличника.

Возможно, я и могла бы нырнуть в лиловые волны, доплыть до ускользающего от меня остального мира, но я беспокоилась, чтобы были соблюдены правила безопасности, сначала смотрела направо, потом налево. А удаляющаяся толпа махала грязными платочками, брезгливо зажав их кончиками большого и указательного пальцев. Какая осмотрительность! Они прикрывали лица, когда чихали, босые ноги же их заледенели, а я задавалась вопросом, неужели у них не было денег на обувь и чулки, и потому, страшась бедности, оставалась на своей льдине — сначала посмотрев направо, потом налево, остерегаясь ужасных машин, несущихся через одинокую ледяную пустошь, пока не появился человек с золотистыми волосами и не сказал: «Вам нужен отдых от хризантем, кладбищ и трамвайных путей, параллельно стремящихся к морю. Вам нужно бежать ото всех этих песков, и люпинов, и шкафов, и оград. Миссис Хогг вам поможет; наша миссис Хогг точно беркширская

свинья, у которой вырезали зоб, и теперь посмотрите только на жижу, которая сочится из дыры у нее в горле, послушайте, как приятно посвистывает она на вдохе».

«Вы ошибаетесь, — миссис Хогг стояла на носочках, высоко подняв голову. — Даже если у меня и рыжие усики, никакая жижа никогда не вытекала ни из какой дыры у меня в горле. И скажите на милость, в чем разница между географией, электричеством, холодными ногами, ребенком-олигофреном, который сидит и роняет слюни в красном деревянном паровозе посреди бетонного двора, и погребальной песнью Гвидерия и Арвирага:

Не страшись впредь солнца в зной,
Ни жестоких зимних вьюг:
Завершил ты труд земной,
На покой ушел ты, друг.
Светлый отрок ли в кудрях,
Трубочист ли, – завтра – прах[1].

Миссис Хогг меня пугала. Я не знала ответа на ее вопрос и закричала:

---

[1] Примечания: 1
У. Шекспир «Цимбелин». Пер. А. Курошеевой.

Дурочка с переулочка любопытная была,

Лезла не в свои дела!

А какие у дурочки могли быть свои дела? Или у дурачка из Клифхейвена, где поезда останавливаются на двадцать минут, чтобы успеть выгрузить и загрузить мешки с почтой и дать пассажирам возможность бесплатно поглазеть на умалишенных, отрешенно, с открытыми ртами стоящих на платформе.

Который сейчас час? Пустоголовый школьный колокол самозабвенно бьется куполом о язык. А я успела в школу вовремя? На вишнях с глянцевыми листьями появляются бутоны, львиный зев расцвел и показал бархатистое донышко, ветер дует солнечным светом сквозь ряд упругих зеленых тополей, что растут там, на берегу, вверх по тропинке. Я ясно вижу их из окна. Так почему же кажется, что в самом разгаре зима? И отчего окна открываются всего лишь на шесть дюймов снизу и сверху, а двери запирают люди в розовой униформе, с ключами на привязанном к поясу шнурке, которые они убирают в глубокий потайной карман? Чай уже подавали? Закатный свет, янтарная японская керрия, дети, играющие

в классики, бейсбол и стеклянные шарики до тех пор, пока разливающиеся чернила ночи не скроют даже желтый цвет кустов, — реально ли все это?

Я могла бы в том, другом, мире надеть людям на ноги теплые носки, но я сплю и не могу проснуться; меня сбросили с обрыва — я повисла над пропастью, зацепившись за край пальцами, по которым пляшет и топчется Гигантская Нереальность.

Мне не оставалось ничего другого, как плакать. Я лила слезы, чтобы растопить снег, чтобы призвать представителей власти, которые сорвали бы предупредительные знаки. И я так и не ответила миссис Хогг, в чем была разница, потому что видела всё усиливающееся сходство: различия растворялись в воздухе, усыхали, полностью обнажая плод подобия, как усыхает околоплодник, обнажая орех лещины.

2

Я замерзла. Я пыталась отыскать длинные больничные носки из шерсти, чтобы согреть ноги, чтобы не умереть от новой процедуры — электрошоковой терапии — и не быть тайком, через черный ход, вынесенной в морг. В ужасе просыпалась я каждый день перед обходом медсестры, которая сверялась со списком и объявляла, направят ли меня сегодня на шоковую терапию — новомодный способ добиться от пациента послушания и понимания, что приказам нужно подчиняться, а полы нужно намывать до блеска, а на лицах должна быть улыбка, а слезы — преступление. Это ожидание в утренние морозные часы, облаченные в черную судейскую мантию, было сродни ожиданию оглашения смертного приговора.

Я пыталась восстановить в памяти события предыдущего дня. Я плакала? Отказалась подчиниться приказу кого-то из сестер? Впадала в панику при виде тяжелобольных пациентов и пыталась убежать? Пригрозили ли мне, что запишут на процедуру, если не одумаюсь? День за днем я проводила время, тщательно изучая

лица медперсонала, как если бы это были экраны радаров, способных выдать приближение нацелившейся на меня опасности. Я была изобретательна. «Позвольте мне делать уборку на сестринском посту, — просила я. — Позвольте мне вечерами убираться в кабинете: за день на мебели и журналах разводится столько микробов, что, если угрозу не устранить, можно стать жертвой заразы, а это повлечет за собой неудобства, снятие отпечатков пальцев и шитье савана из дешевого полотна».

Так я и убиралась в кабинете сестринского поста, в целях профилактики, подкрадывалась к столу и заглядывала мельком в раскрытый журнал, где был список тех, кому на следующий день назначили процедуру. Как-то раз я увидела там свое имя — Истина Мавет. В чем же я могла провиниться? Я не плакала и не отвечала не в свою очередь, не отказывалась делать уборку, накрывать на стол или выносить через боковую дверь переполненный бак с отбросами для свиней. Значит, было еще что-то, преступность чего я не осознавала и поэтому не могла внести в свой проверочный список, что-то из глубин подсознания, куда не добирался свет фонарика, направляемого моим разумом. Я понимала, что

теперь необходимо быть особенно осторожной. Не оставлять следов, а поэтому нужно надевать перчатки, перед тем как вламываться в переполненное жилище чувств и вытаскивать оттуда на свет возбужденность-подавленность-подозрительность-страх.

Мы следили за тем, как сестра со списком в руках переходила от одного пациента к другому, — от страха тошнота подкатывала к горлу, становилась все сильнее.

«Вам назначена процедура. Сегодня будете без завтрака. Не переодевайте ночную рубашку и халат, заранее снимите зубные протезы».

Нам приходилось проявлять осторожность, демонстрировать спокойствие и сдержанность. Если дурные предчувствия не оправдывались, мы испытывали головокружительную опустошенность и облегчение, которые нельзя было показывать — иначе назначат экстренную процедуру. Если же твое имя все-таки было в зловещем списке, ты всеми силами старался подавить нарастающий приступ паники. Порой безуспешно. А сбежать было невозможно. Как только имена были объявлены, все двери методично запирали на ключ: нас оставляли в наблюдательной палате, где и проводили процедуру.

Наступало время, когда мы могли только прислушиваться: вот другие пациенты идут по коридору на завтрак, вот все замолчали, пока старшая медсестра Хани, опустив голову, но бдительно не закрывая глаз, читает застольную молитву.

«Увещеваем и молим Господом нашим Иисусом Христом, чтобы вы были благодарны за то, что дается вам».

Вот весело застучали ложки о тарелки с овсянкой; вот после завтрака заскрипели стулья, приглушенно зашумели голоса, когда, по обыкновению, обнаружилось, что пропал столовый нож, и пока его ищут, сестра строго приказывает: «Никого не выпускайте из-за стола, пока нож не будет найден». Вот за указанием сестры «Дамы, встаньте», последовали скрипы и шуршание. Вот открывают боковые двери, пока распределяют обязанности между пациентками. Вы, дамы, в прачечную. Вы, дамы, в швейную мастерскую. Вы, дамы, в медсестринский корпус. За дверью послышались цокающие шаги обутых в черное крошечных ног грузной главной медсестры Гласс, она открыла наблюдательную палату и изучающе смотрела на нас, как смотрит владелец скота, когда производит оценку особей, ждущих

отправки на убой. «Здесь все? — спросила она медсестру. — Проследите, чтобы у них не было еды». Мы ждали, собравшись маленькими группками или полукругом у большого отгороженного камина, в котором угрюмо тлела кучка угля, согревали заледеневшие пальцы, положив руки на почерневшую решетку.

Ведь несмотря на цветение львиного зева, серебристой цинерарии или вишневых деревьев за окном, здесь всегда была зима. И никуда не исчезала главная опасность — опасность, которую представлял электрический ток, бежавший по проводам в компании холодного ветра. Я все гадала, какие меры предосторожности должна предпринять, чтобы защититься от него. Перебирала в голове чрезвычайные ситуации: грозы, мятежи, землетрясения — и что там еще придумал Спаситель Красный Крест, которому мы должны сохранять преданность, чтобы не умереть — вдвойне одинокими — на отколовшейся льдине. И никак не могла придумать, что же делать, если опасность исходит от электричества; разве что надеть резиновый комбинезон с сапогами, который отец носил на рыбалку и который хранился в подсобке вместе с побитыми молью пальто и стопкой старых номеров юмо-

ристических журналов, сохраненных для чтения в туалете. Интересно, что случилось с этой подсобкой и с теми старыми вещами, покрытыми паутиной и обжитыми мокрицами? Заблудившись на незнакомой территории, определяйте время по солнцу, а местоположение — по рекам, текущим по направлению к морю.

Да, я была изобретательна. Как-то раз даже вспомнила, что была какая-то связь между электрическим током и влагой; отпросившись под тем предлогом, что мне нужно в туалет, я наполнила ванну водой и залезла в нее, не снимая ночной рубашки и халата; вот теперь мне нельзя на процедуру, думала я, и возможно, теперь у меня есть тайная сила, при помощи которой я могу управлять этой машинкой из гладкого пластика, кремового оттенка, со всеми ее ручками, лампочками и датчиками.

Вы верите в тайные силы?

Иногда случались счастливые моменты, когда аппарат ломался, из процедурного кабинета появлялся расстроенный доктор, а сестра Хани делала такое желанное заявление: «Все можете одеваться. На сегодня процедура отменяется».

Но сегодня, когда я забралась в ванну, тайная сила моя покинула меня: спешно, самой

первой, меня отправили на процедуру, даже раньше, чем привели шумных обитательниц второго отделения — отделения для беспокойных, которым назначали сразу по два или даже три сеанса подряд. Этих пациенток в принадлежащих отделению красных халатах, длинных серых больничных носках и пышных полосатых панталонах, которые некоторые из них с удовольствием демонстрировали окружающим, вызывали по именам или прозвищам: Диззи, Голди, Дора. Иногда они подходили к нам и начинали что-то рассказывать или просто благоговейно трогали за рукав, как будто мы в самом деле были такими, какими себя и ощущали, — представителями совершенно другой расы. Разве при том что мы тоже страдали от «болезни разума», не были мы теми, кто смог сохранить членораздельную речь, по-прежнему контролировал свои конечности и не впадал в беззвучные приступы смеха? Впрочем, когда приходило время терапии, и нас заводили — или затаскивали насильно — в процедурный кабинет, все мы без исключения: и обитатели «примерного» отделения, и обитатели отделения для беспокойных — издавали в момент подачи тока одинаковый сдавленный крик и тут же проваливались в одинокое беспамятство.

Уснула я недавно. Пересекались, сходились маршруты времени; столкновение мчавшихся навстречу друг другу часов подожгло всю округу, черный дым окутал зеленые ростки воспоминаний, пробивавшиеся на обочине. Я взяла из моря каплю воды и попыталась потушить пламя. Я сигналила прибывающим часам зеленым флажком, и они мчались дальше по израненной земле к месту своего назначения; среди пассажиров, смотревших на меня из окна, я узнавала лица тех, кто ждал сеанса терапии. Там была мисс Кэддик (все звали ее Кэдди), скандальная и подозрительная, не имевшая ни малейшего понятия, что скоро ее тело унесут через черный ход в морг. Мое собственное лицо смотрело на меня из окна вагона, в котором толпились отзывавшиеся на прозвища люди в больничных халатах, полосатых рубахах и серых шерстяных носках. Что все это могло значить?

Как же мне было страшно. Помню, когда я поступила в Клифхейвен в первый раз, вошла в общий зал и увидела женщин, которые сидели, на что-то уставившись, я подумала, как, должно быть, думает любой, натолкнувшись на прохожего, который не отрываясь смотрит в небо: если и я взгляну наверх, то тоже это увижу. И я

посмотрела, но не увидела. Да и взгляд их не был устремлен на что-то, что могло заинтересовать толпу на улице; в программе было одиночество и эксклюзивный показ для одного зрителя.

Все еще зима. Почему все еще зима, когда вишни стоят в цвету? Я в Клифхейвене уже целую вечность. Как вообще могу я успеть в школу к девяти, если заперта в охраняемой комнате и ожидаю сеанса ЭШТ? А путь в школу такой длинный: вниз по Иден-стрит мимо Риббл-стрит и Ди-стрит, мимо дома врача и кукольного домика его дочери, расположившегося рядом на лужайке. Как бы мне хотелось, чтобы у меня был кукольный домик, чтобы я могла сделаться крохотной и жить в нем, свернувшись калачиком в спичечном коробке под шелковым пологом, на боку которого будут звезды, выданные за примерное поведение.

Бежать некуда. Скоро сеанс ЭШТ. Из окон на веранде я вижу, как медсестры возвращаются с позднего завтрака, по двое и по трое идут вдоль клумбы с львиным зевом и водосбором, мимо цветущих вишневых деревьев, и болезненное чувство отчаяния и обреченности охватывает меня. Я как ребенок, которого заставили есть непривычную пищу в чужом доме, которому

еще и ночь придется там провести, в незнакомой комнате, на кровати со странно пахнущим постельным бельем, а утром из окна будет чужой, ужасающий пейзаж.

В палату входят медсестры. Собирают зубные протезы у тех, кому предстоит процедура, кладут их в старые надтреснутые чашки с водой, подписывают имена бледно-голубой шариковой ручкой, которая пробуксовывает на недружелюбной поверхности фарфора, паста разбегается, распушается, и буквы становятся похожи на мохнатые мушиные лапки. Медсестра приносит две небольшие облупленные эмалированные миски — с метиловым спиртом и ароматным мылом, которыми нам протирают виски для лучшего контакта.

Я пытаюсь найти свои серые шерстяные носки, ведь если ноги замерзнут, я умру. Одна из пациенток предусмотрительно надевает штаны. «А что, если у меня ноги задерутся перед доктором?» В последний момент, когда всех нас уже окутывает ужас девяти утра и мы сидим на жестких стульях, запрокинув головы; нам натирают виски мокрой ватой до тех пор, пока кожа не надтреснет и не начнет щипать, а ручейки спирта стекать в уши, резко заглушая звуки, кто-то вдруг начинает

кричать и паниковать, а кто-то пытается схватить остатки еды лежачих пациентов; и когда сестра выкрикивает: «Дамы, в уборную!» — и дверь палаты открывается, чтобы позволить нам краткий визит в кабинку туалета без дверей в сопровождении охранниц, которые следят, чтобы никто не сбежал, то и дело завязываются драки и кто-то брыкается в попытке прорваться, тотчас же осознавая, что бежать некуда. Двери, ведущие в большой мир, заперты. Тебя обязательно кто-то догонит и затащит обратно, а если это будет главная медсестра Гласс, то она еще и добавит сердито: «Это для вашей же пользы. В конце концов, возьмите себя в руки. И так сколько хлопот доставили».

Сама она не предлагает проверить на себе электрошоковую терапию, как могла бы поступить по примеру тех, кого обвинили в намерении отравить, и кто, желая доказать свою невиновность, первым пробует кусок торта, в котором может быть мышьяк.

Наконец раздвигают цветочные ширмы, чтобы спрятать от глаз дальнюю часть палаты, где приготовлены кровати, отодвинуты простыни, под углом уложены подушки, готовые принять пациента в бессознательном состоянии. Снова каждая

из нас просится в туалет, нарастает паника, и сестра окончательно запирает дверь, а поход в уборную становится недостижимым. Мы жаждем выбраться, сесть на холодную фарфоровую чашу унитаза и самым примитивным образом опорожнить свой ум от нарастающей тревоги, как будто бы физиологический процесс может убрать беспокойство, выгнать его наружу вместе с обжигающими каплями.

Слышны звуки утреннего простудного кашля, скрипа туфель на резиновой подошве, скользящих по полированному полу коридора в компании синкопированных торопливых шагов, напоминающих звук пинг-понга, — и появляются доктор Хауэлл и главная медсестра Гласс: она отпирает дверь палаты и, делая шаг в сторону, пропускает врача вперед; вся королевская процессия затем проходят дальше, чтобы присоединиться к старшей медсестре Хани, ожидающей в процедурной комнате. В самый последний момент, прихрамывая, заходит недавно назначенная социальная работница, которую попросили помочь с процедурой, потому что медсестер не хватает (мы зовем ее Павлова).

«Сестра, ведите первого пациента, пожалуйста».

Я много раз вызывалась идти первой, потому что к тому моменту, когда я очнусь (не так уж и долго длится забытье), большая часть пациентов, окутанная дремой тревоги, все еще будет ожидать своей очереди, уже плохо понимая, завершена процедура или нет, вдруг они и не заметили, как все случилось.

Люди за ширмой начинают стонать и плакать.

Нас заводят строго по вольтажу.

И мы ждем, пока покончат со всеми из второго отделения.

Мы знаем, какие про ЭШТ ходят слухи: все это подготовка перед казнью в Синг-Синге, когда нас наконец осудят за убийство и приговорят к смерти: пристегнутые к электрическому стулу, мы будем ощущать на коже электроды, умирая, будем втягивать ноздрями запах паленых волос и собственной жареной плоти. Страх заставляет некоторых еще больше сходить с ума. Они рассказывают, что так их хотят заставить говорить, а секреты протоколируют и хранят в процедурном кабинете, да я и сама находила тому подтверждение, когда шла через процедурную с корзиной грязного белья и увидела свою карту. Импульсивная и опасная. Так там было сказано. Но почему? Да как же? Как? Что это вообще может значить?

Моя очередь почти подошла. Я перемещаюсь поближе к двери в кабинет: у врача столько пациентов, что любое промедление его раздражает. Процесс ускоряется (все как с грязным бельем: одна смена одежды на тебе, одна смена лежит чистая, одна смена в стирке), если один пациент уже ждет своей очереди, чтобы войти, еще один на кушетке, а еще один приходит в себя, готовый снова занять место в очереди.

В какой-то момент из-за закрытой двери обязательно донесется чей-то вопль или истошный крик, дверь распахнется и на каталке вывезут Молли, или Голди, или миссис Грегг, скрючившуюся и хрипящую. Пока ее провозят мимо, я зажмуриваюсь, но по-прежнему вижу все, и даже другие койки, на которых пациентки лежат в забытьи или поскуливают, просыпаясь. Вижу их покрасневшие лица, налитые кровью глаза. Слышу, как кто-то стонет и всхлипывает: этот кто-то очнулся не в тот момент не в том месте; уж я-то знаю, как электрошок опустошает, как погружает в полное одиночество, бросая незрячим в пустоту небытия, и ты, как новорожденный звереныш, неуклюже пытаешься найти кого-то, кто тебя утешит, а потом, крохотный и напуганный, просыпаешься — и не можешь унять слезы,

переполненный горем, которому нет названия.

Рядом со мной приготовлена койка: покрывало отвернуто, положена подушка; здесь я буду приходить в себя после процедуры. Я и не почувствую, как меня перенесут. Я смотрю на кровать, как будто мне нужно установить с ней связь. Мало кому доводилось заранее видеть свой гроб; а если бы довелось, наверняка, появился бы соблазн запрятать в шелковой драпировке несколько безделушек, которые могли бы сохранить память о том, кто ты такой. Я представляю, как тайком прячу под подушкой больничной койки записку, где указаны время и место, чтобы не ощущать себя совершенно потерянной, когда — и если — очнусь, чтобы не скрестись по темным коридорам незнания, не понимая, кто я. Я захожу в кабинет. Какая же я смелая! Все замечают, какая я смелая! Я взбираюсь на кушетку. Стараюсь глубоко и ровно дышать: говорят, именно так стоит делать, когда страшно. Стараюсь не обращать внимания, когда главная сестра сиплым шепотом наемного убийцы спрашивает у одной из медсестер: «Кляп приготовили?»

Снова и снова повторяю про себя стихотворение, которое выучила в школе, когда мне было восемь. Стих, как и серые шерстяные носки,

нужен мне, чтобы отпугнуть Смерть. В нем ни слова о том, что будет происходить тут, и это правильно, ведь закон нахождения в экстремальных условиях требует от нас переключать внимание на вещи, не относящиеся к имеющейся ситуации: умирающему вдруг становится интересно, что подумают, когда будут подстригать ногти у него на ногах, а горюющий может начать пересчитывать цветки на сорняках. Перед глазами возникает лицо мисс Своп, которая и научила когда-то этому стихотворению. Вижу ее родинку сбоку носа, большую и бугристую, как каравай, вижу торчащий из нее рыжий волос. Вижу себя в классной комнате: я стою и рассказываю стихотворение наизусть, чувствую, как потертая лакированная крышка парты упирается мне в живот, прямо в пупок, в котором, если засунуть в него палец, можно нащупать крупицы песка; краем глаза слева от себя вижу пенал моей соседки по парте, о котором я так мечтала: он был трехэтажный, с переводной розочкой на крышке и удобной выемкой (как раз под размер большого пальца), чтобы отодвигать верхний отсек.

«Лунные яблоки, — объявляю, — Джон Дринкуотер».

На крыше дома яблок лежат ряды,

Льется с небес луч синеватый звезды,
Их зеленя до тона морской воды…[2]

Дальше трех строк я не продвигаюсь. Доктор нажимает кнопки и поворачивает переключатели аппарата, деловито, с уважением, ведь это его союзник в борьбе против работы сверхурочно и трудностей-депрессий-наваждений-маний целой тысячи женщин; перед тем, как дать сигнал главной медсестре Гласс, находит момент, чтобы процедить через улыбку: «Доброе утро».

«Закройте глаза», — говорит главная медсестра.

Я не слушаюсь; заметив поданный украдкой знак, захлебываюсь нахлынувшей беспомощностью, пока главная сестра, еще четыре медсестры и Павлова придавливают мои плечи и колени к кушетке, и я чувствую, как падаю во тьму, разверзающуюся под ногами в проеме люка. Я ощущаю, как глазные яблоки мои как будто бы развернулись друг к другу и, смущая оппонента, не обращаясь к мозгу, доказывают каждое свою правоту. Потом, бесплотная, я стараюсь из темноты нащупать свою оболочку, найти ее во времени и пространстве и, как бездомный паразит, при-

---

[2] Примечания: 2
Д. Дринкуотер «Лунные яблоки». Пер. Н. Сидемон-Эристави.

крепиться к ней. Сначала не получается: там, где я была, меня нет, и кто-то уничтожил все следы. Я всхлипываю.

Чувствую, как по горлу стекает сладкий чай. Я хватаю сестру за руку.

«Уже всё? Всё закончилось?»

«Процедура завершена, — отвечает она. — А теперь спите. Вы пришли в себя слишком рано».

Но заснуть не получается, и тревога снова начинает нарастать.

Неужели завтра опять?

3

После завершения последней утренней процедуры доктор, главная медсестра Гласс и старшая медсестра Хани шли в сестринскую выпить чаю, где доктора усаживали в лучшее кресло, принесенное из примыкающей комнаты, которую называли кают-компанией и где иногда принимали посетителей. Доктор Хауэлл пил чай из особой чашки, на ручку которой был повязан лоскут красной ткани, чтобы нельзя было перепутать посуду персонала с посудой для пациентов и заразить друг друга скукой, одиночеством, авторитаризмом. Доктор Хауэлл был молод, полноват, близорук, с припухшими глазами и бледным лицом (мы прозвали его Булка), он был чутким, но изможден работой: растерял весь задор новичка под давлением непрекращающегося стресса, как новый самолет, который поместили в испытательную камеру — симулятор полетов на расстояния в миллионы миль и который уже через несколько часов несет на себе бремя усталости нескольких лет.

В одиннадцать часов, после чаепития, начинался утренний Обход, ритуал, когда доктор Хауэлл

в сопровождении вездесущих главной медсестры Гласс и старшей медсестры Хани, одновременно выступавших в роли посредника, переводчика и охранника, приходил в общий зал, где престарелые женщины и пациентки помоложе, но не подходившие для работы в прачечной, или швейной мастерской, или престижном медсестринском корпусе, понуро перелистывали старые номера журналов «Иллюстрейтед Лондон Ньюз» или «Уименз Уикли», или вязали одеяла для прокаженных, или вышивали под надзором недавно назначенного эрготерапевта, у которой, к немалому огорчению многих из той сотни пациенток, что обитали в четвертом отделении, был с доктором Хауэллом роман.

«Доброе утро. Как вы сегодня?» Иногда доктор мог остановиться, чтобы поинтересоваться делами пациентки, вроде бы дружелюбно улыбаясь, но при этом украдкой поглядывая на часы, возможно, с трудом представляя, как за оставшийся час перед обедом обойти все женские отделения, а затем разобраться со всей корреспонденцией и принять настойчивых-обескураженных-встревоженных-осрамленных родственников.

Пациентка, которой выпала неслыханная честь побеседовать с врачом, приходила в такой вос-

торг, что порой не знала, что ответить, или же наоборот, пересказывала все события скороговоркой, так что главной медсестре приходилось обрывать ее на полуслове.

«Доктору сейчас некогда это слушать, Мэрион. Возвращайтесь к своей вышивке».

При этом всемогущая главная медсестра сообщала ему шепотом: «Последнее время она совсем отказывается сотрудничать. Мы записали ее на завтра на процедуру».

Доктор кивал рассеянно, говорил что-то невпопад, будучи неглупым человеком, тут же осознавал бессмысленность своей ремарки и мысленно отшатывался от себя, словно продавец, который с небрежностью отнесся к собственному товару. С нарочитым вниманием тогда рассматривал он кусок полотна или примитивно вышитые цветы, горделиво ему демонстрируемые. Потом, окинув помещение обеспокоенным виноватым взглядом, он направлялся к двери в сопровождении главной медсестры Гласс и старшей медсестры Хани, которые отпирали и запирали дверь, не давали приблизиться женщинам, в последний момент желавшим пообщаться с сострадательным собеседником и потому мчавшимся показать ему свое рукоделие, или наброситься

на него с ругательствами, или поприветствовать вопросом: «Здравствуйте-доктор-когда-меня-отпустят-домой?»

Иногда, как будто бы выражая главной медсестре Гласс и сестре Хани протест, доктор Хауэлл решал самостоятельно, без их участия, уйти через дверь, которая открывалась в просторный, полный деревьев парк под окнами четвертого отделения; пока его фигура удалялась, обе медсестры укоризненно и с опаской переглядывались, как две паучихи, из старательно сплетенной ловушки которых добыча смогла высвободиться одним лишь взмахом крылышек.

Нам нравилось, что доктор Хауэлл был молод; все остальные, которые нами не занимались, но руководили больницей, были седовласыми и пожилыми, они спешили в свои кабинеты и из своих кабинетов, сновали внизу перед зданием, словно крысы, перебегающие от укрытия к укрытию, и прятались в рабочую рутину, устланную одними и теми же многажды пережеванными методами. И не кто иной, как доктор Хауэлл, пытался донести до остальных любопытные новости о том, что душевнобольные пациенты тоже были людьми и им могли нравиться обычные людские занятия. Так и появились «Вечера», когда мы

играли в карты: снап, старую деву, осла, юкер, а еще настольные игры «Лудо» и «Змеи и лестницы», вручали победителям награды, а потом шли ужинать. Но где взять столько санитаров, чтобы следить за развлечениями? Павлова, единственный социальный работник на всю больницу, отважно поприсутствовала на нескольких «раутах», устроенных для пациентов обоих полов в общем зале четвертого отделения. Она наблюдала за тем, как люди взбираются по лестницам, съезжают по змеям и приводят свои фишки в дом по красным и синим квадратам лудо. Она тоже была рада, когда прибывал главный гость вечера — доктор Хауэлл, одетый в легкий пиджак и спортивные туфли, с приглаженными назад пшеничными волосами и неожиданно громким, густым смехом. Он был подобен богу: метал кости, словно молнии; с надлежащим возмущением встречал требование проехаться назад по аспиду, однако, вне всякого сомнения, он был заклинателем даже картонных змей цвета желчи. Не говоря уже о людях. Мы знали, что он был богом и для Павловой; но беготня в замусоленном белом халате с вечно расстегнутыми нижними пуговицами была плохим союзником в войне против эрготерапевта. Бедная Павлова! И бедная Ноэлин,

которая ждала от доктора предложения руки и сердца, несмотря на то, что единственными его словами, обращенными к ней, были «Как вы?», «Вы знаете, где находитесь?», «Знаете, почему вы здесь?» — фразы, которые обычно трудно истолковать как проявление особых чувств. Но болезнь позволяет обнаружить в себе неожиданные просторы восприятия, богато засеянные новыми смыслами, которые отныне единственные дают каждодневную пищу для размышлений. Поэтому, когда доктор Хауэлл женился наконец на эрготерапевтше, Ноэлин пришлось перевести в отделение для беспокойных. Она не могла взять в толк, почему не она была нужна доктору больше всех на свете, почему он предал ее и должен был жениться на ком-то, чьей единственной добродетелью была способность показывать пациентам — которым и не нужно это было особо — как вязать шарфы и вышивать по муслину.

4

Говорят, когда заключенного приговаривают к смертной казни, все часы рядом с его камерой останавливают; как будто это может перекрыть поток времени и забросить обреченного на неподвластный четвертому измерению остров, вокруг которого мгновения, вздымаясь и отступая, словно волны прибоя, никак не могут достичь берега.

Однако еще ни разу смерть океанографа не смогла заставить море замереть; а одним из условий существования моря является то, что оно все-таки соприкасается с сушей. А в камере смертника время мчится с таким грохотом, как если бы все в мире часы с кукушкой-боем-будильником звучали у него в голове одновременно.

Снова и снова, когда думаю о Клифхейвене, я играю в игру со временем: словно это меня приговорили к смерти и все, что указывало на ход времени, было убрано из моего поля зрения, но я продолжаю слышать у себя в голове, как бой часов ведет отсчет, предупреждая о приближении девяти часов — времени, когда нужно было идти на процедуру и искать пару шерстяных носков, так необходимых, чтобы не умереть. Или уже

одиннадцать, все завершилось, а мой сон длится всего несколько часов или лет, когда я еще не сидела в радужных лужах принадлежавшего второму отделению дворика и не бродила по ухоженному парку, огороженному частоколом с ржавыми, ощерившимися в небо навершиями.

Одиннадцать. Я помню то ощущение одиннадцати утра и приятную агонию от того, что нужно было решить, пойти ли вместе с бледнокожей миссис Пиллинг и ее корзинкой для белья, застланной пропитанной сырным запахом салфеткой («Пойдете со мной за хлебом?»), или вместе с беспокойной миссис Эверетт, которую упекли в больницу, как поговаривали, до дальнейшего уведомления, и ее пустым кувшином для молока («Пойдете со мной за сливками для наших особенных?»).

Перспектива совершить сразу два путешествия за пределы запертого пространства переполняла восторгом, и я смаковала момент, сравнивая преимущества пекарни и сепараторной. Так все же: хлеб или сливки? К пекарне, где Энди забрасывает в разинутую пасть печки противни с будущими буханками, похожими на покрытые налетом зубища, нарезает хлеб для нашей палаты и пытается петь дуэтом с хлеборезкой, перекри-

кивая последнюю и хруст случайной корочки, или приглашает меня вдруг в подсобку, чтобы отдать остатки выпечки с вечеринки у главврача, или поделиться куском воскресного борстальского пирога с черносмородиновой начинкой?

Или вверх по склону на ферму, мимо опустевших коровников, от которых несет навозом, в сепараторный цех, где Тед расставил посуду со сливками в порядке важности, как мы когда-то делали в детстве с чашками, когда играли в школу: первый в классе, второй в классе, третий в классе?

Сначала шла фляга для главврача, тщательно отполированная, без вмятин и следов старых сливок. Затем фляга для врачей, тоже начищенная. Затем фляги для главного бухгалтера, управляющего фермой и его семьи, инженера, главных медсестер, главного санитара, прочих санитаров и медицинских сестер. Наконец, фляга для особых пациентов, которые были слишком слабы или болели туберкулезом, и поэтому их имена были внесены в специальный список, что висел на стене в столовой. Из сотни женщин, обитавших в отделении, лишь десять или пятнадцать могли претендовать на звание «особой», которой было положено это лакомство. Помню

свой восторг и благодарность, когда на несколько недель в списке появилось и мое имя, и за обедом я с самодовольством наблюдала, как сестра поливала сливками мою порцию тапиокового, или рисового, или манного, или хлебного пудинга (по понедельникам) или печеное яблоко (по четвергам, когда был сезон).

Но вы же знаете, что все это самообман; знаете, что уже одиннадцать, а мне не разрешено выходить ни за хлебом, ни вверх по склону за сливками — мимо тополей, кустов дрока и акаций; знаете, что я прячусь в подсобке для белья, сидя на ящике с дровами, плачу оттого, что не хочу, чтобы меня записывали на процедуру, и боюсь, что кто-то увидит, что я плачу. Эта комната — мое любимое укрытие. Каждое утро ее убирает медсестра из туберкулезного отделения, и ее пол похож на палубу корабля. Отсюда я слушаю, как чахоточная Маргарет бубнит осипшим голосом про Первую мировую. Она умоляет любого, кто проходит мимо по коридору, помочь ей выдворить из ее комнаты врага. В этой палате, в которую солнце, пробиваясь через ржавую сетку на окне, заглядывает летом всего на несколько часов в день и заставляет пылинки плясать в воздухе, она живет уже много лет. Иногда на

вечерней прогулке можно увидеть, как Маргарет стоит в освещенном солнцем углу своей палаты, и кажется, что лучи проходят сквозь нее, и кости ее не плотнее паутины. Лицо ее бесцветно, нет даже обычного для чахоточных румянца, а сама она как скелет; смотришь на нее и думаешь: «Умирает». Она же все живет и живет, год за годом, тогда как другие туберкулезные, более крепкие на вид, как Эффи и Джейн, уходят, а их тела поспешно, без антисептической обработки, отправляют в морг, что стоит позади прачечной и напротив теплицы в окружении овощных грядок и живучих уличных растений, а внутри у него нежные бегонии в горшках, которые расставляют вокруг пианино, когда из города приезжает выступать слепой музыкант.

У морга нет лица.

Если бы его строили так, чтобы вместить всех умерших, он бы поглотил теплицу, и прачечную, и котельную, и большую кухню, и, возможно, даже всю больницу. Однако он мал, неприметен и умоляет, чтобы пациенты не нарушали правило одиночества и умирали строго по очереди.

Хотя подсобка и выглядит начищенной до блеска, она полна запахов — мастики для полов; крема для обуви (черного и коричневого, затвер-

девшего, почти не использованного, в жестяных банках, которые хранятся внутри большой банки из-под печенья, с вмятиной и серьезным профилем Георга Шестого на крышке); покрытой сырыми пятнами щепы, от которой во рту сухо и появляется странный привкус; прилипающего ко всему еще влажного белья и свежего выглаженного белья, разложенного по полкам с бирками «Панталоны», «Сорочки», «Ночные рубашки», «Простыни», «Покрывала» (украшенными завитками патриотичного орнамента из листьев акеаке или венком и надписью «Вперед», как на кокардах у военных). Здесь хранятся маски для больных туберкулезом и картонные коробки для сбора мокроты, в разобранном виде, как их привозят из магазина. Часть трудотерапии чахоточных пациентов заключается в том, чтобы собирать эти коробки, цепляя клапаны друг за друга, и следить за тем, чтобы маркировка с указанием унций была сбоку; они были словно дети в детском саду, собирающие гробики из набора «Сделай сам». Здесь хранятся жестяные канистры из-под керосина со срезанным верхом, которые используют, чтобы кипятить на открытом огне в столовой посуду туберкулезных пациентов, потому что стерилизатора для них у больницы

еще нет.

За процессом надзирают миссис Эверетт и миссис Пиллинг, хозяйки на кухне и у очага. А еще миссис Пиллинг (самая надежная в палате) заботится о том, чтобы на завтрак были поджарены на огне тосты, принесены хлеб и сливки, выставлен за боковую дверь жестяной бак с едой для свиней, который, неторопливо подгоняя своего тяжеловоза, забирает по пути на ферму золотоволосый посвиненок. Водрузив бак на повозку, он роется в нем в поисках съедобных кусков, обходя стороной студенистое болото из каши, вытаскивая казавшиеся повкусней куски тостов и пропитанных черносмородиновым сиропом булочек, жадно запихивает все это себе в рот, с удовольствием пережевывает, а затем снова забирается на козлы и, дернув за поводья и выкрикнув: «Но!», заставляет хмурую, но терпеливую лошадь сдвинуться с места; миссис Пиллинг, сдержанная и молчаливая, находит в себе понимание к причудам мальчишки, хоть ее и воротит от его привычки; с непоколебимым терпением и уважением она воспринимает особенности других людей и, вставая на защиту чужой индивидуальности, сама порой может выкинуть фортель.

Иной раз она оставляет кусок пирога с начин-

кой на баке. Похоже, что у нее нет ни мужа, ни детей, ни родственников. Никто никогда не приходит ее навестить. Она никогда не разговаривает о личном, так что сложно заподозрить, что оно вообще у нее есть. Она уже много лет прожила в больнице и обзавелась здесь собственной комнатой в конце коридора, где располагаются палаты больных туберкулезом; удивительно, насколько уютной смотрится эта каморка, по крайней мере, для палаты в больнице для душевнобольных. Ей разрешено хранить свое пальто у себя. Его место за дверью. У комнаты женский запах — пудры и одежды. Кто-то когда-то подарил миссис Пиллинг цветок в горшке, который сейчас живет в углу на стуле; календарь пятилетней давности, сохраненный, возможно, из-за красоты старого доброго английского пейзажа, закрывает собой окошко в двери, чтобы медсестры не могли заглянуть к ней в комнату посреди ночи. Она среди тех, кому позволено немного приватности.

Ясность ее ума, ее осознанное принятие своего положения на всю оставшуюся жизнь меня пугают. Она похожа на кого-то, кто мог бы встать лагерем на кладбище и как ни в чем не бывало продолжать готовить суп в котелке, есть и крепко спать, а днем, возможно, начищать могильные

камни и выпалывать сорняки. Ждешь от нее проявления хоть какой-то эмоции, как ждешь, что из-под бесконечно безмятежной глади озера появится тот самый зверь, который, по слухам, обитает где-то там, «глубже, чем достанет лот»[3]. Чтобы добраться до самой миссис Пиллинг, нужно что-то вроде батисферы. Батисферы полной страха? Или любви?

Ее альфа и омега — хлеб-сливки-больница-столовая-очаг, а еще проверить вместе с миссис Эверетт, разделяющей общую страсть к наведению порядка, чтобы медный титан для чая начищали каждый день, а еще выставлять на стол еду из буфета для личных запасов. Фрукты, сладости, пироги, пряники — все, что принесли гости и осталось недоеденным после субботнего часа для посетителей, запирают в том шкафу, а за чаем ты можешь обнаружить перед собой тарелку со своим именем, на которой лежат две-три шоколадки в обертке, апельсин или яблоко. Иногда мне удается попасть в помощники к медсестре и миссис Пиллинг, ведь посетители у меня бывают редко, и тогда я с нетерпением жду момента, когда сестра соорудит на тарелке

---

[3] Примечания: 3

У. Шекспир «Буря». Пер. Т. Щепкиной-Куперник.

натюрморт из шоколадок в блестящих обертках и скажет: «Держи, съешь парочку».

Я возражаю: «Нет-нет, это же не мое».

А сестра отвечает согласно сценарию: «У этой пациентки корзинки и картонки еды — пропадет, если не съесть».

Я виновато беру шоколадку, медленно разворачиваю ее, разглаживаю складочки на серебристой бумаге, откусываю крошечный кусочек, чтобы понять, насколько сильно отвердел шоколад, а затем, словно вор, словно пронырливый любитель дармовщинки, съедаю всё. Точно так же, когда посетители уходят, а расстроенные и взволнованные пациентки разбредаются, разговаривая о муже-доме-детях, прижимая к себе единственные видимые и осязаемые свидетельства общения с родными, все эти печенья, конфеты, фрукты, я — с пустотой в руках, стараясь не показать вида, когда отвечаю на вопрос «К тебе кто приходил?», оказываюсь внезапно в самом оживленном уголке общего зала, где мне непременно предложат апельсин, или мятную конфетку, или печенье.

«Что ты, тебе самой нужно», — протестую я, нетерпеливо протягивая руку.

Нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Использовать времена — все равно что писать

мелом на воде. Я не знаю, случилось ли мое пребывание в Клифхейвене много лет назад, или происходит сейчас, или только ожидает меня в том времени, что называют будущим.

Что я знаю наверняка, так это то, что подсобка для хранения белья часто была моим укрытием. Оттуда сквозь маленькое пыльное оконце я смотрела на парк, газоны, деревья, далекую полоску моря, приклеенную, точно стикер, к краю небосвода. Я плакала, и недоумевала, и лелеяла мечту каждого душевнобольного пациента — о Большом Мире, о Свободе, о Воле; с ужасом представляла то, что пугало больше всего, — лечение электрошоковой терапией, заключение на ночь в одиночной палате, переселение во второе отделение, то, которое для беспокойных. Я мечтала о большом мире, потому что так было принято, потому что не могла вынести мысли, что не все узники грезят о свободе; реальный же образ жизни за стенами больницы приводил меня в ужас: трясина — обиталище отчаяния-жестокости-смерти — под тонкой корочкой изо льда, по которой Любовь, крошка краб с радужным панцирем, цепляясь клешнями за поверхность, осторожно боком семенит и никак не может никуда добраться, пока солнце, похожее на один

из тех шерстяных помпонов, которые мы делаем на трудотерапии, наматывая оранжевую нить на картонный кружок, поднимается все выше над горизонтом, расправляя огненную бахрому, и угрожает растопить предательскую стеклянную гладь. Люди же… похожи на гигантские куклы из лоскутов, с оторванными конечностями и подрезанным под имеющуюся форму сознанием.

Я не умела выбраться из своих грез; у меня не было нужных средств; словно у хирурга, который обнаруживает перед началом сложной операции, что у него украли поднос с инструментами или, что еще страшнее, все его инструменты изменили форму — и лишь он их не узнает, пока остальные, ничего не подозревая, ждут, когда он сделает первый разрез. И как тут можно объяснить что-то, очевидное только для тебя, кому-то, кто не способен этого понять? Как полагается, я мечтала о Большом Мире, потому что была выдворена за его пределы: кому же еще испытывать чувство тоски, как не изгнаннику? А иногда бормотала доктору заученную фразу: «Когда меня отпустят домой?», прекрасно зная, что дом был местом, куда я совсем не хотела вернуться. Домашние бы постоянно ждали от меня чего-то ненормального, как ждут хорьки у кроличьей норы, когда из нее

высунется ее хозяин.

Я боялась очутиться в одиночке. И хотя все маленькие палаты были одиночными, одно лишь это название делало угрозу еще более страшной. Во время моего пребывания в четвертом отделении я жила в наблюдательной палате, а позже в переполненной палате, что «в другом крыле», с цветочными покрывалами на кроватях, которые стояли даже в коридоре. Мне нравилось лежать ночью в наблюдательной палате, когда медсестра, сидя в принесенном из кают-компании кресле, вязала все новые и новые кофты, всматривалась во вкладыши со схемами в женских журналах, урывками ненадолго засыпала, подняв ноги на каминную решетку, чтобы приятное тепло от огня доставало и до ее пятой точки. Я любила ритуал подготовки ко сну, когда надежная миссис Пиллинг присылала поднос со стаканами молока, а одна из пациенток, балансируя, словно официант, заносила колонну из серовато-бежевых ночных горшков. Мне нравилось, что кровати стояли бок о бок и то, как спокойно становилось от равномерного дыхания соседей, к которому примешивались раздражающий храп, перешептывания, позвякивание ночных горшков и доносящийся потом теплый

запах, как из коровника. Я боялась, что в какой-то момент главная медсестра Гласс, услышав, что я «доставляла трудности» или отказывалась «сотрудничать», отчеканит: «Понятно. В одиночную палату, дамочка».

Когда часто слышишь, как угрожают другим, сам боишься еще больше, а когда видишь, что пациент, которого уводят, всегда упирается и кричит, задумываешься с болезненным любопытством, что же там такое в этой комнате, что за ночь буйствующие крикуньи становятся послушными, сидят с отстраненным взглядом и апатично следуют командам «В общий зал», «В столовую», «В кровать». Менялись, однако, не все; и тех, кто не поддавался увещеваниям заточения на четырех квадратных метрах и никак не мог выучить «урок», как выражались главная медсестра Гласс и старшая медсестра Хани, отправляли во второе отделение.

А второе отделение было моим кошмаром. Туда отсылали, если пациент отказывался «сотрудничать» или если систематические процедуры ЭШТ не приводили к улучшению состояния, которое оценивалось в основном по тому, насколько сговорчиво и быстро выполнялись команды «Дамы, в общий зал», «Вставайте, дамы», «По кроватям,

дамы».

Ты прилежно выучивался «не выделяться»: не плакать при свидетелях, улыбаться и выражать удовлетворенность, изредка спрашивать, можешь ли вернуться домой, в доказательство того, что тебе становится лучше, а потому нет никакой необходимости переводить тебя под покровом ночи в это самое второе отделение. Ты приучался хорошо выполнять свои «домашние» обязанности: заправлять кровать так, чтобы текст смотрел правильной стороной вверх, а углы покрывала были аккуратно подогнуты; начищать пол в палате и коридоре, усердно придавливая к поверхности тряпку, сделанную из порванного одеяла, пропитанную неподатливой желтой мастикой, вобравшей в себя запахи еженедельных покупок, в одной корзине с которыми ее принесли из магазина: всех этих банок с вареньем, бутылок с уксусом, огромных головок сыра и брикетов масла, куски из которых миссис Пиллинг или миссис Эверетт вырезала при помощи ножа, хранившегося в запиравшемся на ключ футляре. Ты запоминал, каким был порядок вещей: ванну принимали вечером в среду, но тем, кому можно было доверить мытье собственного тела выше запястья, разрешалось в любой день посещать

просторную комнату с высокими потолками, словно на вокзале, и стоявшими рядом друг с другом тремя глубокими ваннами, краны которых были спрятаны в защитные кожухи, запиравшиеся на замок. На стене висели правила поведения, напечатанные таким мелким шрифтом, что их можно было перепутать с расписанием поездов. Список был древний, еще начала века, и содержал четырнадцать указаний, согласно которым было запрещено, например, принимать ванну в отсутствие санитаров, емкость разрешалось заполнять водой лишь на шесть дюймов, при этом сначала включать холодную воду, не допускалось использовать щетки какого бы то ни было типа… Каждая из нас мылась в своей ванне, без ширм, и таращилась с любопытством на тела соседок, на обвисшие животы и сдувшиеся груди, на клоки выцветших волос на теле, на те громоздкие и гибкие формы, которые для женщины являют собой квинтэссенцию ноющей, не прекращающейся связи с собственной плотью.

5

«Ну как? Обживаетесь?» — временами интересовался доктор, точно легкий ветер, прилетевший из чужой страны и потревоживший зверя, который готовился к зимней спячке. Обживание было окружено ореолом одобрения: как считалось, «чем скорее ты обживался, тем быстрее тебе можно было вернуться домой»; «ну и как вообще можно надеяться, что вы сможете жить в большом мире, если не можете справиться с жизнью в больнице?» И правда, как?

В самом начале я с жалостью, любопытством и изумлением смотрела на тех немногих пациенток в наблюдательной палате, которым суждено было остаться тут навсегда: на миссис Пиллинг; миссис Эверетт, которая, будучи измотанной и неопытной молодой матерью, убила собственную малышку; мисс Деннис, изящную, острую на язык, с аккуратно уложенными седыми волосами, которая днями напролет занималась тем, что прибирала комнату регистрации в медсестринском корпусе, натирала серебро, стаканы для воды и вазы для фруктов, принадлежавшие светлейшим сестрам в белоснежных косынках; и

еще нескольких других, которые разбирались в правилах и могли их объяснить: если ты вел себя достаточно хорошо, мог получить разрешение на ограниченное передвижение по лечебнице, а если очень хорошо и заслуживал доверия (как многие из них самих) — на полную свободу передвижения, и тебе разрешалось бродить где угодно на территории больницы; когда тебя отпускали домой, то выписывали не сразу, а назначали испытательный срок, как уголовному преступнику, и ты мог жить за стенами учреждения, но по закону оставался невменяемым, не мог голосовать, подписывать документы или выезжать за границу. В те времена не существовало добровольной госпитализации: мы все считались «недееспособными по причине психического расстройства согласно Закону об умственно отсталых от 1928 года».

Пациентки, которые прожили в лечебнице уже очень много времени и сами были похожи на сотрудников, могли поддержать беседу о том, кто из медицинского персонала главнее и как обстояли приватные дела у главной медсестры, что жила в квартире со стороны фасада. Минни из первого отделения исполняла обязанности ее личной служанки; ей выдали свою копию

ключа от квартиры, и она приходила к нам днем, чтобы принести газеты и пересказать миссис Эверетт и миссис Пиллинг, и особенно мисс Деннис, которой нравилось к весомости своих манер добавлять превосходство осведомленности, все свежие сплетни о жильцах снизу.

А от Керри из первого отделения мы узнавали о жизни врачей, в чьих квартирах она выполняла работу по дому; а еще от Молли, которая обслуживала семью врача, что жил через дорогу. «Жена его пилит», — говорила она победоносно, потому что это означало, что его связь с пациентками, которые, казалось, его «понимали», будет только крепнуть. Так мы, новоприбывшие, и узнавали о важных событиях вроде праздников на Рождество («сдвинут все столы, нам подадут свинину с яблочным пюре и всем подарят подарки»), церковной мессы, танцев (в свете развития «нового» подхода к лечению душевнобольных теперь разрешались танцы), спортивных мероприятий, открытия площадки для боулинга, матчах по крикету между обитателями больницы и жителями деревни, визите Счетовода Одна Конфета из Общества оказания помощи пациентам и заключенным.

Другие вечные постояльцы жили во втором

отделении. Кроме как во время процедур электрошока, больше мы их почти нигде не встречали. Они были для нас белым шумом, доносившимся из особого дворика; а ночью Кирпичный Дом, где располагались их палаты, превращался в улей, за ржавой сеткой окон которого они стенали и выли, как будто бы весь мед, что они должны были принести за день, куда-то исчез или вовсе не был собран. Иногда мы заставали момент, когда их загоняли обратно в Кирпичный Дом, а они, казалось, исполняли свой дикий танец, чтобы рассказать сородичам про поля, где нет цветов, про то, что они потратили впустую еще один день в череде бесконечных лет своих поисков. А иногда заставали момент, когда их же, одетых в темные рубахи в синюю полоску поверх неравномерно загоревшей и сморщенной кожи, сестры конвоировали в парк, где они должны были провести остаток дня. И как ни прискорбно признаться, они были похожи на людей; мы не могли отрицать нашего с ними родства; но при этом все они двигали головами и ходили в полусогнутой позе так, как будто столкнулись с пронизывающей метелью, как будто продвигались к своего рода полярному лагерю души, без всякой надежды туда добраться.

Или вот иногда, когда больничный священник проводил в главном зале мессу, на которую мы являлись со скуки или по желанию, чтобы, как Лир и Корделия «молиться, песни петь» в тюрьме, беспокойную группу из второго отделения заводили и усаживали на длинные деревянные скамьи. Они пели с таким задором, что, казалось, пугали проповедника, торжественно и застенчиво стоявшего за кафедрой, на которой лежала Библия, открытая на обещании дать апостолам другого Утешителя, которую он читал с виноватым видом. Обитательницы второго отделения в самых разнообразных шапочках вели себя как неугомонные дети, соскакивали с сидений и перебивали проповедника, вставляя свои уместные ремарки. Умиротворенно улыбались, когда предлагалось возвести молитву «о больных умом». Истово пели:

У реки соберемся,
У реки, несравненно прекрасной,
У реки соберемся,
Что у трона Господня течет[4].

И:

---

[4] Примечания: 4
Р. Лоури «У реки соберемся». Пер. Н. Сидемон-Эристави.

Солнце воссияет
Суше и морям.
Свет его мерцает,
Светит вольно нам[5].

Мужчины сидели с одной стороны, женщины с другой. Под покровом религиозности передавались записки, выражались симпатии, планировались побеги. Мужские голоса, протяжные, сильные, порой фальшивившие, с неохотой оставляли любимую последнюю ноту, заставляя послушную органистку, пациентку из первого отделения, похожую на Георга Третьего, до бесконечности держать усыпляющий звук, пока священник, чьи симпатии к вечности были продиктованы ее иллюзорностью, а вовсе не материализацией в виде протяжного «аминь» в конце церковного гимна, уверенно обрывал звук, громко произнося благословение: «Да пребудет благодать Господа нашего Иисуса Христа с каждым из нас ныне, и присно, и во веки веков».

Обитательницы второго отделения любили немного задержаться, чтобы обменяться с капелланом рукопожатиями, поговорить с ним о

---

[5] Примечания: 5
У. Хау «Солнце воссияет». Пер. Н. Сидемон-Эристави.

домашних делах, мы же, жительницы четвертого отделения, чувствуя тревогу при виде такого дружелюбия, похожего на симптом какой-то неизлечимой болезни, которая может очень легко передаться и нам, торопились побыстрее выйти и отправиться по устланному незабудками парку к своим палатам. Любое описание пациенток из второго отделения будет банальностью по сравнению с тем, что они являли собой на самом деле.

«Они по-своему счастливы».

«Там настолько все далеко зашло, что они уже и не страдают».

«Они привыкли, поэтому не обращают особого внимания».

«Да им все равно».

Они не давали мне покоя; не те, что посещали мессы, а те, которых я могла видеть через забор, окружавший их двор и парк. Кто были эти женщины? И почему попали в больницу? Почему они были так не похожи на обычных людей на улицах городов Большого Мира? И что значили все эти подарки или отбросы, которые они перекидывали через забор: лоскуты, корки, экскременты, башмаки? Делали ли они это из любви или ненависти к тому, что скрывала от них ограда?

6

Жареную баранину, которую подавали в воскресенье на обед, нарезала, как и во всякий другой день, главная медсестра Гласс, которая, переходя ради этого из отделения в отделение, не забывала и себе выделить кусочек — «на пробу». Мясо по тарелкам раскладывала, поддевая его вилкой, стоявшая за длинным сервировочным столом старшая медсестра Хани, овощами заведовала сестра, следующая по рангу, а миссис Эверетт, раскрасневшаяся и встревоженная из-за того, что могла расщедриться, выдавая первые несколько порций, а теперь должна была следить, как бы не понадобилась вся ее изобретательность, чтобы не обидеть никого из оставшихся, разливала мятный соус. Столы были накрыты, и очередь стала разбредаться по своим местам, ждать, когда закончатся последние приготовления и старшая медсестра Хани прочитает молитву: «Увещеваем и молим Господом нашим Иисусом Христом, чтобы вы были благодарны за то, что дается вам». И только после этого нам разрешали притронуться к уже остывшей баранине с овощами и картошкой, укрытыми одеялом из ломкого жира. Нас

не заставляли есть, хотя частенько повторяли, прикрываясь показным состраданием к невзгодам антиподов, что «некоторым в этом мире еще хуже».

Иногда, проявляя невиданную щедрость и тем самым заставляя нас испытывать благодарность и даже думать, что «есть в ней все-таки что-то человеческое», старшая медсестра Хани разрешала сначала поесть, а молитву произносила потом, когда были собраны, пересчитаны и заперты все ножи, а мы сидели в ожидании почты и объявлений, которые обычно оказывались сводкой наших оплошностей: «Впредь не хотелось бы видеть, чтобы…» или «На некоторых пациентов поступили жалобы, что…». Мы вслушивались с трепетом.

Однако управляла своей вотчиной старшая медсестра Хани не только при помощи страха; случались у нее и приступы радости, которые выражались в том, что она собирала вечером всех на «посиделки» (как она это называла) у пианино, лихо снимала с себя красный кардиган, вешала его на спинку стула, садилась за инструмент и начинала играть для нас песни прошлых поколений, требуя резким голосом: «Давайте громче! Все вместе!»

Радужный свет над рекою парит,
Чувствуешь: нежность,
Сквозь скорби безбрежность,
Незвано в сердце спешит[6].

А еще «Когда ирландские глаза улыбаются» и «Дорога на острова», завершая все церковным гимном:

Был на холме высоком град,
Непросто и дойти, —
И наш Господь в нем был распят,
Убит, чтоб нас спасти[7].

К этому моменту выражение ее лица становилось суровым, она поворачивалась к нам, многозначительно глядя, словно хотела сказать: «Помните, что есть вещи, за которые вам стоит быть благодарными, поэтому хватит ныть, тут все делается для вашей же пользы, и есть места, дамы, где людям гораздо хуже, чем вам».

А затем, растянув свои тонкие ненакрашенные губы в горькую улыбку, она начинала играть

---

[6] Примечания: 6

П. Вебстер «Радуга на реке». Пер. Н. Сидемон-Эристави.

[7] Примечания: 7

С. Ф. Александр «Был на холме высоком град». Пер. Н. Сидемон-Эристави.

танцевальную мелодию и приглашать нас всех в завершение вечера потанцевать друг с другом. Продемонстрировав принципы несогбенного товарищества, она покидала общий зал, а кто-то обязательно говорил: «Молодец она все-таки».

На следующее утро, хмурая и неприветливая, она холодно заявляла: «Вы сегодня без завтрака. У вас процедура».

По сравнению с другими днями недели воскресенья были приятными. Не было никаких электрошоков; утром была месса, а днем — прогулка по территории, возможно, даже мимо тополей, вверх по холму, минуя деревянный дом, где жили некоторые из пациентов-мужчин, старые, с трясущимися конечностями, которые только и могли, что сидеть на солнце, а еще молодые азиаты и имбецилы, которые выполняли на ферме и в садах несложную работу. Между двумя столбами у задней двери была натянута бельевая веревка, провисавшая под тяжестью их полосатой одежды. Иногда мы замечали, как на нас глазел кто-то из окна без занавесок или таращились те, что сидели на солнце, по-старчески шевеля губами, пытаясь проговорить что-то, что не сумели сказать за всю жизнь, или что-то, что сказать было некому, а теперь они бубнили и

бубнили, не особо подбирая слова, с одной лишь целью — успеть выговориться. Пока человек жив и охраняет свое суверенное право на жизнь, его, короля-солнце, окружают невидимые царедворцы бытия, которые следят, чтобы он был сыт и опрятно одет, подобно муравьям, прислуживающим своей королеве; но когда последний час становится все ближе, они забывают о нем или объединяют усилия, чтобы убить, и тогда, окутанный флером умирания, человек приобретает особый заброшенный вид. Неопрятность стариков как будто жила в них, выглядывая из-под небрежно пристегнутых к штанам подтяжек, расстегнутых ширинок, незаправленных, измятых фланелевых рубашек.

Проходя мимо, мы видели в их столовой деревянные столы без скатертей, накрытые для чая — керамическая чашка, тарелка и ложка, и каждый раз меня приводила в уныние мысль о том, каким же тоскливым должен быть день, если чай подавать сразу после обеда. Наверняка после этого их тут же укладывали спать, еще засветло. Как мне хотелось зайти к ним, расстелить на длинных столах белые скатерти и расставить вазы с цветами. В некоторых больницах Большого Мира заведующие отделениями выяснили (и об этом

даже писали в газетных статьях, с заголовками), что цветы «помогают». Могли ли они помочь сейчас? Возможно, нет. Похоже, это было место, где никого не было дома. Мне это напоминало те моменты из детства, когда отец возвращался домой с работы, а мама была в саду или в туалете или разговаривала с соседкой у забора; он заходил на пустую кухню, и выражение паники появлялось у него на лице.

«А где мама?» — спрашивал он.

И я вдруг вспоминала стихотворение, которое мы учили в школе, мистическую историю, начинавшуюся строками: «“Есть ли в доме кто-нибудь?” — освещенный лунным светом, путник в дверь стучал». Странник мог годами стучать в двери того угрюмого отделения, мог даже кричать, как путешественник из стихотворения: «Скажите им, что я пришел!» — но ответа так и не добился бы. Старики уже были мертвы, даже если рты их все еще шевелились и у них получалось выпить чаю и умыкнуть кусок борстальского пирога; даже если они выходили погреться на солнце в компании единственных своих спутников — собственных теней, недвижно и безмолвно лежавших рядом.

А еще во время прогулки мы приходили к заго-

ну для телят — голштинские малыши на кривых ножках просовывали через забор свои головы и лизали своими шершавыми языками наши протянутые руки. Или же мы прогуливались, зажав носы, по свинарникам, где поросята, похожие на розовые колбаски, плотно утрамбованные сосали вымя лежавших на боку, измазавшихся в грязи свиноматок, а подростки гоняли носами по полу объедки или фыркали, засунув морды в корыто с молоком, в котором не осталось сливок. Интересно, догадывались ли они, что в столовой нашего отделения висело объявление, полностью посвященное только им?

«Просьба не бросать кости от рыбы в бак для свиней. Несколько ценных особей стали жертвами этой пагубной практики».

Там, рядом со свинарниками, наверху холма, мы стояли и смотрели на море, на дым на горизонте, выходивший из труб корабля, перевозившего пшеницу или уголь в один из портов на восточном берегу; ближе к нам, под холмом, серела аспидная кровля главного больничного здания с его маленькими зарешеченными окнами, специально созданными, чтобы противостоять солнечному свету, и башней, на которой колокол, как его древний тюремный собрат, сигналил о

наступлении утра и вечера.

Или же мы шли вниз к саду у главного входа, мимо священного участка, принадлежавшего главврачу, на ограде которого висело предупреждение «ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Мы брели дальше, подстраиваясь под самую медленную из нас, пока не замирали у центральных ворот, за которыми открывался Большой Мир: раскинувшаяся на лугах деревушка Клифхейвен, школа, церковь да два универмага, а ниже по дороге, за домом доктора, железнодорожная станция и служивший залом ожидания деревянный навес, выкрашенный красной краской, похожий на те, что строят в школах для прогулок; сюда залетали чайки и оставляли на полу серо-черные крапчатые кляксы, здесь в углу сбрасывали в кучу багаж, который, казалось, пробыл тут вечность, здесь за дверью, висевшей на сломанных петлях, таился туалет, где по раковине и унитазу бежали дорожки ржавых капель, на пол натекла лужа воды, а клочок бумаги полуприкрывал темнеющие результаты чьих-то трудов, которые этот кто-то не стал смывать.

Мы стояли у ворот, смотрели на Большой Мир, где, как нам обманчиво подсказывала память, люди могли поступать, как им вздумается: поку-

пать собственную мебель, туалетные столики с салфетками и платяные шкафы с зеркалами; открывать и закрывать двери столько раз, сколько им хотелось; у них была одежда с этикетками, на которых не писали их имена, сумки, куда можно было положить пилочку для ногтей и косметику; никто при этом не надзирал за ними, пока они ели, не собирал и не пересчитывал после этого ножи и не говорил устрашающе: «Вставайте, дамы».

Затем по дорожке из гравия мы возвращались в четвертое отделение. Отпиралась входная дверь, нас вели по коридору мимо палат для туберкулезных больных, палат для пожилых, палаты миссис Пиллинг, к шкафу для верхней одежды, где мы, кроме самых хитрых (иногда включая меня), у которых получалось убедить сестру, что они «всегда» помогают накрывать на стол к чаю, «никогда» не забывают последить за тем, чтобы на огне в столовой сварились яйца для пациентов в наблюдательной палате, или «обычно» занимаются тем, что развозят по отделению закуски к чаю, оставляли свои пальто и шарфы, а затем нас запирали в общем зале, пока не подадут вечерний чай. Там нас, раскрасневшихся, полных впечатлений от того, что мы видели по дороге: поросят,

телят, вещей доктора, сушившихся на веревке, цветущего дерева магнолии, которым гордилась вся больница, пустым взглядом встречали те, что были слишком стары или больны, чтобы выходить на прогулку. И дошли мы до самых ворот!

В ответ на нас смотрели отупелым взглядом: наши рассказы никого не впечатляли. Они продолжали таращиться; некоторые тихо стонали, некоторые были заняты своим обычным делом — рвались наружу, дергая за дверную ручку и прося о помощи, некоторые уставились в окно и смотрели на деревья, на темно-пунцовый бук, сияющий в лучах заходящего солнца, на ели и на черных дроздов, скользивших крыльями по траве.

Ну и что такого в том, что мы были у ворот или заглядывали в коровник? Те, что оставались в общем зале, казалось, смотрели на нас с осуждением, как будто бы мы, выходившие на улицу, потратили время впустую. Им-то это было не нужно: они могли созерцать собственную цветущую магнолию. Подавленные, мы рассаживались по местам и ждали чая. Завтра был понедельник. Не снимайте ночную рубашку и халат, ночную рубашку и халат, ночную рубашку, ночную…

7

После трех лет, которые я провела в четвертом отделении, когда я покорно — почти всегда — посещала процедуры по утрам, зарабатывала уважение миссис Пиллинг, энергично натирая полы в коридоре, расположение миссис Эверетт, вызываясь (порой без желания) чистить яблоки и столовое серебро по пятницам, и все возрастающее неодобрение главной медсестры Гласс и старшей медсестры Хани своими приступами паники за обедом, мне сказали, что я достаточно здорова, чтобы возвращаться домой. Когда пациенты узнавали, что кого-то отпускают, они смотрели на него с завистью и назначали особенным для самих себя и тех, кто приходил их навестить: «А это Мона (или Долли, или Ненси). Ее отпускают».

«Правда?» — отвечали на это посетители, словно туристы, которым указывают на обычное здание и говорят, что это местная достопримечательность. Не хотелось и самому говорить о том, что тебя отпускают, даже оповещать об этом; тебя одновременно переполняли чувство вины и чувство радости, как ребенка в приюте, которого

собирались наконец забрать и которому предстояло выдержать проникнутые тоской взгляды брошенных позади.

За мной должна была приехать мама. Как и всех остальных в семье, новость о том, что одну из ее дочерей упекли в Клифхейвен, пугала, повергала в шок. Общее представление о людях в Клифхейвене, да и в любой другой психиатрической больнице, они получали из шуточек про чокнутых, из тех, где высокопоставленного проверяющего спрашивали, как к нему обращаться, он отвечал: «Лорд» или «Сир», а его утешали: «Это скоро пройдет. Когда меня сюда привезли, я тоже думал, что я король Англии».

Моя семья нечасто приходила меня навестить. Они казались мне чужими и отстраненными; иногда, когда я бросала быстрый взгляд на мать или отца, с удивлением обнаруживала, что их тела дробились на множество частиц, клетки их кожи, похожие на зерна пшеницы, перемалывались в муку; иногда они проворачивали свой трюк и обращались в птиц, взмахами могучих крыльев, разгонявших в воздухе шторм.

Мама надела новую одежду, которая вызывала у меня недоверие. Годами, с того самого момента, когда она вышла замуж, ее главным предметом

гардероба был, как она его называла, «миленький темно-синий костюм». Но недавно она отправила свои нестандартные мерки фирме с севера, которая прислала по почте готовый коричневый костюм в тонкую коричневую полоску. Никогда до этого она не носила вещи этого цвета, тем более костюмы; когда она пришла, казалось, ей было неуютно, как будто она скрывала что-то постыдное. Коричневый, какой бывает вакса для обуви, с ненавязчивым отливом, почти сразу испачкался травой, когда мы устроились под буком на пикник.

* * *

Мама приехала забрать меня домой. Взбудоражено и громко разговаривала она с доктором, возмущенно заверяя его, что, конечно же, я никогда не слышала никаких голосов и не видела ничего и что со мной все в порядке. Мама не доверяла доктору; в какой-то мере моя болезнь была некоторым отражением ее самой, чего-то, чего ей стоило стыдиться, что стоило замалчивать и, если потребуется, отрицать. Она негодовала, но согласилась с предложением доктора, что мне не стоит оставаться дома, что мне стоит отправиться на север и пожить какое-то время у сестры,

которая выразила готовность «принять» меня.

Я попрощалась с миссис Эверетт и миссис Пиллинг, пекарем, посвиненком, новенькими медсестрами, заполнявшими ведра углем, вычищавшими очаг, старательно выносившими горящие угольки, раздуваемые сквозняком из боковой двери, ответственно отрабатывавшими двенадцатичасовой рабочий день, раскрасневшимися, растрепанными и уставшими, с пятнами сажи на подолах новенькой розовой униформы и красными кругами над задниками форменных туфель. Хотя и они учились отдавать команды, которые нужно было моментально выполнять, и сбивать разбредающееся стадо в аккуратную очередь.

Я прощалась, обещая писать и зная, что после нескольких первых писем сказать будет нечего, кроме провонявших нафталином фраз, при помощи которых люди стараются сохранить воспоминания. «Доктор Хауэлл все еще приходит на Рауты по понедельникам?» «Насколько я понимаю, у Павловой все по-прежнему». «По вторникам все также подают картонные пироги с фаршем?»

Оставался только разговор с главврачом, который никогда раньше со мной не общался, но

которого я иногда видела на пятничных обходах, когда он переезжал по узким дорожкам, отгороженным деревьями, от отделения к отделению на своей мощной темно-бордовой машине с увесистым задом, из окна которой смотрел рыжий сеттер по кличке Молли. Доктор Портман был полноватым низкорослым темноволосым англичанином с ухоженными усами и карими глазами, поблескивавшими из-под кустистых бровей. Это был человек решительных манер и жестов, щедрый на симпатию, обладавший чувством возвышенного, что никак не соответствовало его образу переполненного амбициями успешного петуха, вышагивающего в модных полусапожках. Доктора Портмана прозвали Безумным Майором.

Я постучала, вошла в его кабинет и робко встала на красный ковер. На его столе в рамочке красовался девиз на итальянском: «Бесценен уходящий момент».

«Проходите, присаживайтесь», — сказал он любезно.

Я села.

Он наклонился ко мне. «Вас когда-нибудь насиловали?» — спросил он. Я ответила, что нет. Он встал из-за стола, подошел ко мне, пожал руку,

пожелал всего хорошего — я могла покинуть больницу.

Выпустили меня на испытательный срок.

8

Мы с мамой стояли на железнодорожной станции и ждали, когда подойдет наш экспресс. Помню, как часто, когда мы проезжали через Клифхейвен и поезд делал остановку, чтобы загрузить почту и охладить двигатель, я специально выглядывала, чтобы посмотреть на «дурачков» на платформе. А теперь, когда поезд замер, из вагонов смотрели уже на меня, и я пыталась понять, нет ли на мне каких-то отличительных знаков безумия, понимали ли они — хотели ли понять — то, какой жизнь была за пределами станции, вверх по дороге, за воротами, вверх по тропинке, за запертыми дверями серого каменного здания.

Забираясь в вагон, я вспоминала, как миссис Пиллинг ставила на стол хлеб к чаю, а миссис Эверетт следила за приготовлением яиц на огне в столовой. В общем зале миссис Ричи рассказывала любопытным, но скептично настроенным слушателям, как во время операции у нее «часть тела просто взяла и отвалилась. Хирурги что-то там не то сделали. Какая-то часть тела — секретная, не могу сказать какая — просто взяла и

пропала». С раскрасневшимся лицом, жестикулируя, она снова и снова повторяла про досадную ошибку, из-за которой стала не такой, как все, а подлые врачи отказываются признаваться в краже. Меж тем в углу тихо и безмолвно стоит Сьюзан с замерзшими и посиневшими руками и ногами. Она сняла кофту и туфли, и теперь невозможно убедить ее снова их надеть.

Престарелые пациентки бродят по палате с потерянным видом, в помятых платьях и фильдеперсовых чулках, собравшихся гармошкой на щиколотках, потому что, когда их одевали рано утром, подвязок в их «связке» вещей, вероятно, не оказалось. Они бьются в запертые двери, хотят выбраться, «заняться делами» или разобраться с чем-то из прошлого, что побеспокоило сейчас и требует немедленного внимания; им нужно поговорить с людьми, которых нет рядом, поухаживать за давно умершими — принести чашку чая уставшему мужу, которого нет ни здесь в общем зале, ни среди живых. Голоса передают им срочные послания, и их начинает переполнять беспокойство, но никто, никто не хочет их выслушать или понять.

Новые медсестры, пришедшие в больницу всего несколько дней назад и занимавшиеся

тем, что начищали полы, убирали постели и пополняли емкости с углем, как будто бы от них требовалось установить хорошие отношения с домашней утварью, а лечить нужно было ведра, одеяла и коридоры, находили какое-то странное успокоение в том, чтобы, стоя посреди общего зала, расчесывать грубой больничной расческой волосы наших престарелых дам — редеющие белые пряди на обтянутом прозрачной голубоватой кожей черепе. Со временем эти самые медсестры растеряют все свое терпение, но сейчас они все еще полны сочувствия к своим подопечным; по всему видно, что старушкам плохо: общий вид потерянности подчеркивает их неказистая одежда, слишком длинные кофты, в которые завернуты их усохшие тела, бесформенные платья, которые им принесли мужья или дочери со словами: «Надеюсь, будет как раз. Почему-то не могу вспомнить, какой у тебя размер», возможно, даже осознавая где-то глубоко внутри, что нет «правильного размера», что искореженный внутренний мир их матери или жены добрался до их плоти и никакими обычными инструментами невозможно было теперь снять мерки.

Этих престарелых дам усаживают за отдельный стол, подают им сливки к пудингу, рано отправ-

ляют по своим палатам, раздевают, укладывают спать и запирают. Как только медсестра уходит, они сразу же выбираются из постели и разбредаются по комнате, чтобы посмотреть, все ли здесь в порядке, не нужно ли что-то поправить, не нужно ли о чем-то позаботиться. Так беспокойно они проводят почти всю ночь, а утром, после мимолетного сна, снова встают с кроватей, иногда мокрых и перепачканных, и, как и в любой другой день, пытаются разобраться, где они находятся, почему им нельзя уйти, куда пропали их подвязки и носовые платки, познают сложности перемещения из одной комнаты в другую, из дневной палаты за обеденный стол и обратно, стараются не забыть подтереться после туалета. Спустя несколько недель, если улучшений нет, их сажают в большой государственный автомобиль черного цвета и отправляют в Кайкохе, в дом престарелых у моря, или переводят в первое отделение, которое также является и детским, с внутренним двориком, где пожелтевшая трава пробивается из трещин на асфальте и бледные слюнявые дети, которых ночью уводят спать в маленькие сырые комнаты с бетонными полами, утешаются парой деревянных игрушек.

В конце концов именно здесь старух уложат в

кровать в последний раз; в этих обшарпанных, провонявших уриной палатах, куда не проникает солнце, их будут мыть и каждый день переворачивать, а глаза их затянет мутная пленка — последний признак победы мира химер. И как-нибудь утром, проходя по коридору первого отделения, можно будет почувствовать запах дезинфицирующего средства, которым вымыли полы в одной из маленьких комнат, увидеть, как с кровати сняли постельное белье, а матрас поставили проветриваться, как за ночь место стало свободным.

Поезд покидал Клифхейвен; медленно набирал ход, проезжая мимо неухоженных склонов, поросших душистым горошком и утесником, и садовых двориков с их хлопающим на ветру, пропахшим мылом бельем на сушилке и курятниками, где толстые белоснежные куры, задрав свои гузки, поклевывали и скребли каменистую почву. Наконец мне надоело пытаться рассмотреть больничные башни за удаляющимися холмами, и я погрузилась в ленивую, туманную дремоту пассажира поезда, который сонно смотрит на погибшие скрюченные деревья, и безудержно пасущихся овец, и помахивающих хвостами коров, которых начинают сгонять на вечернюю

дойку. Клифхейвен ускользнул из моих мыслей так же легко, как солнце скользит вниз по небу в прореху между облаками и горизонтом.

Когда поезд остановился на запасном пути где-то в поросшей травой и эвкалиптами глуши, чтобы пропустить экспресс, который шел на юг, и ждал, и ждал, и ждал, пока не начало казаться, что его бросили на съедение ржавчине, сорнякам и тишине — этим врагам всех людей и машин, хоть в покое, хоть в движении, я снова подумала о Клифхейвене и его обитателях. Интересно, были ли они вытеснены на запасной путь, чтобы уступить дорогу кому-то, кто ехал по более срочным делам? И куда этот кто-то направлялся?

Но поезд тронулся, а я уснула, и мне было все равно. Клифхейвен далеко, а я больше никогда не заболею.

Правда же?

Часть II. Трикрофт

9

Итак, я отправилась на север, в край пальмовых деревьев и мангровых лесов, напоминающих злокачественные наросты в пасти бухты, покрытой иловым налетом; в край апельсиновых деревьев с темными и строгими листьями, служившими прибежищем непрошеным шарам зимнего пламени; в край безупречного и высокого неба. Так там было — на севере. Я остановилась на несколько недель у своей сестры. Знаете ли вы, каково жить под одной крышей маленького домика вместе со своей сестрой, ее мужем и их недавно родившимся ребенком, если ты взрослая одинокая женщина? Смотреть на то, как они заигрывают друг с другом, пощипывают и щекочут друг друга, а ночью, когда ты лежишь на узкой, как гроб, раскладушке, на которой нет места для двоих, слышать их, потому что не можешь не слышать?

Я не могла понять, кто я. Меня лишили телесной оболочки и подвесили под небесным куполом, словно чучело. День казался осязаемым лишь до того момента, пока я не пыталась до него дотронуться, и тогда он отшатывался в

страхе, что я могу его заразить. Я все молила и молила небо о помощи. А оно закрылось от меня фарфоровыми облаками. Я не была ни комаром, ни сверчком, ни бамбуком, и потому в самый разгар лета я очутилась в кровати под лоскутным одеялом веселенькой расцветки в безупречно чистой наблюдательной палате седьмого отделения Психиатрической больницы Трикрофта, что на севере. Из комнаты открывался вид на сад из пышных роз и калл с оранжевой сердцевиной, которые бурно разрослись по краям сухого газона с плакучей ивой по центру. И хотя рядом не было ручья или речки, дерево там было, вне всяких сомнений питаемое той надеждой, что не дает пропасть некоторым людям и растениям; оно там было и ожидало тайного поступления провизии. Сад окружала высокая стена, спрятавшаяся под противопожарным покрывалом из плюща. Я заметила, что окна палаты были створчатыми и открывались так, что никто не смог бы догадаться, что ширина, на которую они открывались, была фиксированная; и над ними не было никаких досок с грубо вбитыми гвоздями, какие использовали в Клифхейвене. В палате было сумеречно и прохладно; снаружи люди в летней одежде прогуливались туда и сюда или сидели

в тени плакучей ивы. Воздух был наполнен спокойствием. Никто не кричал, не протестовал, не стонал; не было никаких звуков возни, когда пациента силой заставляли выполнять приказы. Люди, что были снаружи, были пациентами. И это была больница.

Ведь больница же?

Ну да, конечно, больница; я слышала, как они говорили водителю: «В Психиатрическую больницу Трикрофта, куда убийц направляют. Вот сюда, спасибо».

На кровати напротив меня сидела женщина и разговаривала с любым, кто подходил на роль слушателя.

«Меня зовут миссис Огден», — говорила она.

При поступлении они подписали ее платье, ее туфли, даже ночные рубашки, но в спешке забыли подписать ее саму, поэтому теперь ей приходилось рассказывать, как ее зовут, перманентно, как чернила, которые наносили на ярлыки.

«Меня зовут миссис Огден».

Ее лицо в испарине было бледным, рот влажным, с поджатыми уголками; я узнавала это выражение, такое было у чахоточных в Клифхейвене. Она тараторила без умолку, рассказывая с восторгом об операции, которую ей сделали

в городе, чтобы удалить несколько ребер. Она демонстрировала шрамы. Она рассказывала о произошедшем. Она объясняла, что означали все эти фразочки, описывавшие пребывание в обычной больнице.

«У меня был “амбулаторный” режим, — говорила она блаженно. — Знаете, что это? Это когда несколько часов в день можно не лежать в кровати. Мы надевали халаты и сидели в креслах. Один раз был гром, и два раза молния, и целую неделю лил дождь, а в остальном было солнечно. На террасе. Это достаточно далеко за городом. Все зовут меня Бетти».

Я не могла ничего ей ответить, потому что не могла говорить; я лежала в своей постели, уставившись на нее и пытаясь предупредить о фальши окружающего спокойствия и приятной обстановки, ярких покрывал и людей в летней одежде, прогуливающихся снаружи; я хотела предостеречь от спрятанных в палате ловушек и капканов. У меня в голове поселился ужас, который только усиливался от созерцания сада, плакучей ивы, довольных пациентов, фланирующих без ограничения по нагретому солнцем газону. Меня восхищало то, какой безмятежной казалась миссис Огден. Неужели она не

догадывалась об угрозе? Почему не проявляла осторожность, не следовала правилам безопасности, не затаилась в кровати, натянув одеяло под самый подбородок?

Я лежала и следила за тем, как темный ужас захватывал все вокруг, словно одно из тех сказочных растений, чье существование зависит от отсутствия дисциплины, неудержимого желания прорасти, перерасти, врасти, нарасти — до самого неба, чтобы закрыть собою солнце. Мой ужас выползал из меня, поселялся в тихой палате и оттуда набрасывался на меня, как ребенок, бунтующий против родителей. Угрожал мне.

Я наблюдала за тем, как ответственная за отделение медсестра — старшая медсестра Крид — сопровождала доктора во время обходов; она разговаривала тихо и спокойно, она улыбалась нам с миссис Огден (единственным лежачим больным), подобно тому как вежливая хозяйка дома могла бы приветствовать гостей, приехавших на выходные. Но как только они выходили в сад через распахнутые двери, я замечала с чувством тревоги, что и доктор, и старшая медсестра Крид прихрамывали. Невозможно, чтобы это было просто совпадение! Меня переполнял суеверный страх, какой испытывают первобытные

люди и дети, который заставляет их придумывать богов и повторять рифмованные строфы, чтобы защититься от порока. Мне вспомнилась одна женщина, которую мы прозвали Сторожиха. Она встречала по пути в школу тех, кто замешкался и начинал опаздывать. «Сторожиха», — шептали мы в ужасе и припускали что было сил, не обращая внимания на колотящиеся сердца и колики в боку, лишь бы скрыться из виду хромоножки и успеть на сбор всех учеников во дворе школы.

А потом я познакомилась с главной медсестрой Трикрофта и еще раз убедилась, что страхи мои не были беспочвенными; сначала мне показалось, что главная медсестра Гласс проследовала за мной с юга на север и приняла облик главной медсестры Боро: даже фигуры у них были одинаковые, огромные, упакованные в белую униформу, через которую оградой продавливались прутья корсета. У нее был низкий командный голос; лишь одним своим взглядом она могла дать понять, что наш с миссис Огден постельный режим, привносивший дезорганизованность в упорядоченные ряды накрахмаленных простынь, безупречно чистых после прачечной, аккуратных кроватей, которые никто не занимал, лоскутных покрывал, расправленных под нужным углом,

был оскорблением всему седьмому отделению; и чем раньше мы «вылезем из-под одеяла», тем лучше.

Я с ужасом ожидала того момента, когда мне придется одеться и встать посреди комнаты навстречу сбивающим с ног волнам океана, проверить реальность того умиротворения и довольства, которые я наблюдала из своего укрытия под одеялом. Я не могла найти объяснений своим страхам. Что если, седьмое отделение было всего лишь подводным состоянием разума, который прятал погруженные в воду страшные силуэты за ритмичной иллюзией покоя; и что если, встав с постели, я обнаружу под новым углом зрения, что картина внезапно изменилась, или попаду в ловушку, где огонь, горящий в стенах, высушил всю воду и уничтожил мой покой, полностью обнажив кошмарные силуэты и подставив их резким лучам дневного света? Откуда мне было знать?

Мне разрешили оставаться в постели два дня; я была благодарна. Доктор осматривал меня, а палатная медсестра ненавязчиво поправляла одеяла. Я сжимала ладони в кулаки, следила глазами за движением пальца доктора Тейла, давила ему на руки, ощущала укол булавкой, дышала, гово-

рила: «Девяносто девять», подставляла колено для удара молоточком и ступню для того, чтобы по ней провели иголкой. Я не просила доктора объяснить, почему старшая медсестра Крид прихрамывала, а главная медсестра Боро была так пугающе похожа на главную медсестру Гласс или что означали плакучая ива и послания комаров, бамбук, звенящие сверчки, мухи-каменщицы, жуки хуху, муравьи, потерянно останавливавшиеся на своем пути и из-за этого плакавшие, глубокие трещины в земле, алюминиевый дождь, вскипавший на земле.

Доктор Тейл был тенью, что появляются поздно днем, аккуратный, в белом халате, с куском золота, вставленным между передними зубами, — роскошным трофеем, к которому постоянно возвращался его язык, словно хотел убедиться, что драгоценность на месте, или чтобы освободиться от нее, как избавляются от надоевшей дурной привычки, давно потерявшей свою привлекательность и не приносящей удовольствия.

«Вы знаете, где вы находитесь?»

Очень хотелось выразить сомнение в том, что это было седьмое отделение Психиатрической больницы Трикрофта. Трикрофт. Не могла избавиться от мысли, что меня положили в голу-

бятню. Но говорить я не могла и только смотрела, не отрываясь, на золотой зуб доктора Тейла. «Запишите ее на завтра на ЭШТ», — сказал он старшей медсестре Крид.

Выносить бремя пугающего будущего я больше не могла; я устала; даже если пойдет дождь и арфа в ветвях ивы намокнет, мне будет все равно. Миссис Огден закашлялась, достала контейнер для мокроты и теперь внимательно изучала его содержимое. Она раскраснелась, как будто только что занималась любовью с кем-то или чем-то невидимым для остальных; затаила дыхание от радости, когда увидела, что идет медсестра с картой и градусником.

«Поднялась», — победоносно заявила она, как будто бы выиграла спор у своего невидимого компаньона.

На следующее утро меня в ночной рубашке и халате повели вместе с другими пациентками в незнакомое отделение, которое тоже выходило окнами на сад. Меня положили в одиночной палате, какими были и все другие в этом коридоре, сказали вести себя тихо и ждать. Я лежала, рассматривала узор на половике и думала, что никогда не видела, чтобы в Клифхейвене в палатах что-то стелили на пол; лениво размышляла

о том, что будет со мной, словно была персонажем не очень увлекательного сериала, которому угрожала опасность. Вдруг я услышала знакомый горький, отчаянный крик кого-то, кому делают ЭШТ, и всхлипывания в соседней палате, и как что-то везли в мою комнату.

Дверь отворили. В проеме показался незнакомый мне доктор, а на тележке стоял аппарат электрошоковой терапии. Врач зло посмотрел на меня, подошел к кровати, прикрепил электроды к моим вискам — и я погрузилась в беспамятство и одинокую битву против кошмаров и отчаяния. Когда я очнулась, меня отвели через сад, мимо плакучей ивы и пустой купальни для птиц, в которой в пыли кувыркались несколько воробьев, в седьмое отделение, такое мирное, что я могла бы усомниться в реальности криков и крадущегося по коридору аппарата, если бы в памяти не сохранилось, почти против моей воли, особое зловоние той комнаты, в котором запахи человеческого тела, мастики и мочи спрессовались, как табак или травы, до состояния трухи и давали о себе знать то слегка, то посильнее, пока их остатки источало, намеренно или нечаянно, вездесущее никуда не исчезающее нечто, которое некоторые называют Временем.

Через несколько дней я уже могла вставать, одеваться и ходить по палате или сидеть в саду под плакучей ивой; пытаясь усмирить всевозрастающую тревогу, и ужас, и навязчивый запах той палаты теперь, когда я стала похожа на одного из спокойных, довольных пациентов седьмого отделения, я приучала себя к мысли, что три процедуры в неделю и арпеджио из криков, сопровождавших продвижение тележки по коридору, — все эти ужасы были для моего «блага». «Для вашего же блага» — убедительный аргумент, при помощи которого любого можно заставить согласиться на собственное уничтожение. Я пыталась приободрить себя тем, что в седьмом отделении придерживаются «нового подхода» («душевнобольные пациенты — такие же люди, как мы с вами»): покрывала яркой расцветки и стены пастельных тонов должны оказывать успокаивающий эффект, в гостиной висят несколько абстрактных картин, в столовой расставлены столы на четверых, накрытые пестрыми клетчатыми скатертями, — делалось все, чтобы создать иллюзию, что Трикрофт был отелем, а не сумасшедшим домом, да и слова «сумасшедший дом» теперь не приветствовались и правильно было говорить «психиатрическое учреждение».

Добрая старшая медсестра Крид ела вместе с нами. На завтрак нам подавали пудинг со сливочной подливой, бекон и яйца; все это готовила на кухне седьмого отделения Хиллси, миссис Хилл, еще один преданный старожил, чья жизнь заключалась в служении. Она работала с утра до поздней ночи, хоть и была всегда бледна, с впалыми глазами и темными кругами под ними, а щиколотки ее к ночи опухали.

«Ты только посмотри на мои ноги», — повторяла она.

А кто-то обязательно отвечал: «Хиллси, тебе не следует так много работать».

«Пожалуй, нет», — отвечала она.

Но на следующий же день она поднималась рано утром и направлялась на кухню готовить завтрак, заботливо приносить сестрам чай («Хиллси, ты просто ангел»), мыть и начищать. По воскресеньям, в свой единственный выходной, она оставалась в постели весь день, и тогда люди спрашивали со страхом и раздражением в голосе: «А где Хиллси?» В такие дни, казалось, все шло наперекосяк: еда подгорала и засыхала, столовые приборы терялись, никто не мог ничего найти или сделать сам, и Хиллси все время беспокоили вопросами где, да почему, да как.

Комната Хиллси, как и комната миссис Пиллинг, была украшена картинками и календарями. На туалетном столике стояли ваза с розами из сада и фотография ее сына в форме моряка, привлекательного парня, бледного, как и его мать. Ее поместили в Трикрофт, когда он только родился; в те времена ее еще не могли вылечить.

В назначенные дни посетители приходили почти к каждому пациенту. Моя тетушка решила «удочерить» меня и стала приезжать ко мне каждую неделю, проделывая на трамвае длинный путь с самых окраин города. Она была женщиной средних лет, которая нечаянно или намеренно придерживалась новой моды, провозглашавшей, что розовый и серый — «правильные» цвета для средневозрастных дам. Она носила розовые блузы и серые костюмы в сочетании с невесомыми шифоновыми шарфиками. Кожа на ее лице, испещренная покраснениями и сосудами, напоминала разрисованную карту; глаза ее были мутными, с розовыми комочками, похожими на крупинки крови в яичном белке. Она была милой, интуитивно понимала, чего ожидают от хорошего посетителя: чтобы он принес что-нибудь вкусненькое, а после первого неловкого вопроса «Как ты?», не требующего подробного

ответа, посидел вместе с тобой в саду, тихий, сдержанный, нелюбопытный, время от времени предлагая мятно-карамельные помадки и пирожные. Она восторгалась больницей, любезностью персонала, приятной атмосферой, царившей в отделении, и тем, как выглядели пациенты — «как будто с ними все было в порядке». Другие посетители отзывались о лечебнице похожим образом.

«Тебе так повезло, что ты сюда попала. Здесь все такие милые. Все это больше похоже на дорогую гостиницу. Я подумываю о том, чтобы как-нибудь тоже устроить себе нервный срыв. Я шучу, конечно же. Я понимаю, как нелегко тебе пришлось».

Большинство пациентов седьмого отделения любили поговаривать со своими гостями о «нервном срыве», о том, как он устроен и какие бывают нюансы, как будто бы это был объект недвижимости, нечаянно ими приобретенный. Они любили описывать своим родным, «через что им пришлось пройти». И получали в ответ искреннее утешение: «Скоро домой, еще парочка недель — и ты снова будешь с нами».

И для многих так и случалось. Были прощания и слова благодарности, обмен адресами и обещания писать, обещания рассказать всему свету, что больницы для душевнобольных совершенно

не такие, как о них думают, что письма, полные душераздирающих подробностей, появляющиеся в газетах, — творение странных выдумщиков и лжецов.

Разве обитатели седьмого отделения не убедились на собственном опыте, что здесь самые современные условия и к пациентам относятся как к обычным людям, с заботой и добротой? Электрошок, конечно, не мог быть приятной процедурой, но ведь это было же для их собственного блага, и проводили его в специальном отделении, и пациенты все равно были под действием препаратов, так что вряд ли что-то помнят. Главное, что вам стало лучше и вы можете отправляться домой, а если вдруг придется вернуться в Трикрофт, вы не будете этого бояться.

Как-то раз доктор Тейл сообщил и мне, что скоро и мне станет лучше. Мы нечасто его видели — он был всегда занят и лишь изредка находил минутку, чтобы произнести: «Что вяжете?», «Вы молодец», «Жарко сегодня, не находите?» — или какую-нибудь другую затхлую фразу. Он заботился — или старался заботиться — более чем о тысяче женщин.

Я не чувствовала себя больной, но мне было страшно. Доктор Тейл прихрамывал. Старшая

медсестра Крид прихрамывала. Передо мной устрашающе раздулось лицо главной медсестры Боро, похожее на физиономию мясника. И я послушно направилась на процедуру в то, другое, отделение, под номером четыреста пятьдесят один, старалась подавить тревогу, которая перерастала в панику, как только я ощущала знакомый запах или даже слышала название отделения — номер четыреста пятьдесят один (наверняка код от чего-то зловеще-опасного), как только видела принадлежащее отделению туберкулезное крыло, выходящее в кухню и похожее на хижину, с голыми деревянными полами под крышей из гофрированных металлических листов, из-за которой в солнечный день в палатах, должно быть, была невыносимая жара, пульсировавшая, как головная боль небосвода. Голые полы, контрастировавшие с яркостью и атмосферой достоинства седьмого отделения, приводили меня в уныние, я очень хотела их забыть, чувствовала, насколько мне необходимо не верить в то, что они реальны. Я не смела одновременно поселить у себя в голове и образ седьмого отделения, и образ туберкулезного крыла отделения номер четыреста пятьдесят один.

Я возвращалась с каким-то истерическим удо-

вольствием из суровой «походной» палаты, где царил запах трухи, к иллюзорной реальности седьмого отделения, уверенной болтовне миссис Огден, раздражающей мечтательности остальных женщин, неторопливо рассказывавших о своих домах, семьях, симптомах и о том, какими хорошими были условия в этой больнице. Но я все больше и больше чувствовала себя гостем в загородном особняке, которого окружили заботой, который, однако, самым неожиданным образом находит следы чьего-то тайного присутствия, секретные панели, слышит постукивания и наконец подслушивает разговор хозяев, в котором упоминаются заговор, яд, пытки и смерть. Могло ли быть, что загородный домик, куда я приехала погостить на выходные, был моей собственной головой и тревожили меня проявления зла, обитавшего в ней?

Неожиданно для всех как-то вечером в ванной комнате разразилась ссора между Элизабет и миссис Дин.

«Я первая иду».

«Нет, я».

Казалось бы, всего лишь спор о том, кому первым принимать ванну. Что такого необычного или ужасного тут может быть? В седьмом от-

делении почти никто не ссорился; пациентку, которая отказывалась «сотрудничать», моментально переводили в некое «другое отделение». Возможно, перебранка утихла бы сама собой или разрешилась мирным образом, если бы главная медсестра Боро, совершая вечерний обход, не услышала ругань, не заглянула в помещение, не потребовала шокировано ответить на вопрос: «Что тут такое происходит?» — и не смотрела бы свирепо на полураздетую миссис Дин, женщину средних лет, которая не желала признавать свой возраст, не могла смириться с трансформациями своего тела, нервничала и расстраивалась из-за своей внешности и лишнего веса и всеми силами старалась сорвать ярлык, который на нее навесили ее годы. Взгляд главной медсестры Боро привел ее в ярость. Она стала обзываться и бросаться бранными словами.

«Ты, чертова жируха, бычара-переросток, не смей пялиться на меня».

Лицо и шея главной медсестры покраснели: для нее вопрос внешности тоже был болезненным.

«Выйдите вон, — скомандовала она. — Как вам не стыдно. Приведите себя в порядок. Для такого поведения нет никаких оправданий».

Миссис Дин отказалась покинуть ванную ком-

нату. Элизабет стояла рядом, покорная, само воплощение сотрудничества.

«Понятно», — отчеканила главная медсестра, кивком головы подзывая на помощь и подходя к двери в ванной комнате, которую всегда держали запертой и которую никогда до этого при мне не открывали; дверь отперли, и вместе с тремя другими медсестрами главная медсестра Боро силой вывела через нее упирающуюся миссис Дин.

В нашем отделении мы больше ее не видели.

Я все размышляла об этом таинственном исчезновении. Куда она делась? В «другое отделение»?

Как-то позже, в знак признания того, что мне становилось лучше и скоро меня отпустят домой, медсестра попросила меня пойти вместе с ней на «большую кухню», чтобы вернуть бадью для овсяной каши (овсянка была единственным блюдом, которое готовила не Хиллси). До этого момента я никогда не видела ту часть больницы, что лежала за пределами сада, принадлежавшего седьмому отделению, я смотрела кругом, задавала вопросы и удивлялась, что, оказывается, больница занимала такую огромную территорию. Если посмотреть снаружи, со стороны приветливого главного входа, лечебница была похожа на укрытый плющом загородный дом; внутри же по всей

территории было раскидано несколько ветхих строений, большая кухня, приземистая и грязная, стояла напротив здания, которое было в таком плачевном состоянии, что мне стало интересно, что за отделение там находится.

«Что там?»

«Там? Батистовый Дом».

Мы переступили порог тусклой, плохо вентилируемой кухни и сразу же были сбиты с ног запахом кипящих кабачков. Прошли мимо чана с булькающим жирным мясом и чана с месивом из манной крупы, за которыми следил мужчина в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, откуда выглядывала его волосатая грудь. Внезапно он засунул свою мохнатую руку в бак с кашей и стал энергично ее перемешивать. Пораженная и обескураженная этим зрелищем, я очень захотела вернуться в свое отделение, чтобы удостовериться, что нашу еду готовит Хиллси, да и в целом, чтобы проверить, что оно все еще существовало. На обратном пути, когда мы проходили мимо группы старых зданий, которые казались почти нереальными, настолько разительно они отличались от нашей собственной обители, мы повстречали двух санитаров, которые через заднюю дверь отделения номер четыреста пятьдесят

один выносили чье-то опухшее тело, накрытое простынями.

«Миссис Дин, — опрометчиво прокомментировала медсестра. — Умерла».

Как рада я была вернуться к нам; я пыталась убедить себя, что сад, лужайка, плакучая ива, широко распахнутые окна и двери не были сном, что Трикрофт, хоть некоторые из его зданий и выглядели архаично, был больницей, которая проповедовала новый подход к лечению психиатрических заболеваний. Но тревога не утихала: я обнаружила секретные двери, прознала про страшные планы.

10

Мне по-прежнему делали ЭШТ; с каждым разом я все сильнее страшилась звука тележки и приглушенных криков, сопровождавших ее приближение, — от палаты к палате, все ближе и ближе. Настал момент, когда яркость интерьеров седьмого отделения вдруг превратилась в утомительную пестроту хаотично расползшейся растительности, существовавшей, казалось, чтобы скрывать перемещения смертоносных пресмыкающихся и ядовитых насекомых. Я услышала, что медсестры разговаривают резко, с угрозой. А клетчатые скатерти теперь заставляли меня вздрагивать: казалось, они были измазаны в крови и бедах. И никто не имел понятия о нарастающей угрозе. Рядом с загадочной дверью в ванной комнате я вдруг увидела другие, и у меня не было средств, чтобы узнать, куда они вели, хотя как-то раз одна из них была открыта и из помещения за ней потянуло кислым запахом мокрого постельного белья, который смешался с тяжелой сладостью аромата калл на каминной полке и амариллисов — похоронных цветов, которые приносят, чтобы заглушить запах смерти.

Был конец лета, грозы грохотали так, что, казалось, могли переломать нам кости, по небу проворно расползались изломы молний. Купальни для птиц были переполнены теплой, паркой дождевой водой, намокшие изящные листочки плакучей ивы поникли, вспыхивали пламенем по краям и на кончиках, похожие на скрутившиеся зеленые бумажки, поднесенные на мгновенье к огню. Мы проводили время внутри — в комнате, казавшейся дружелюбной. Медлительно, подергивая конечностями, переводя злобный взгляд с одного предмета на другой, насекомые ползали по ковру; рептилии скользили сквозь жижу внутри стен, выстреливая языками и снова пряча их в пасть.

Теперь, когда тетушка Роуз приходила навестить меня, я была еще более молчалива и с еще большим рвением угощалась мятными помадками и пирожными. Наша деревянная скамейка под плакучей ивой изветшала и вся была в пятнах крови; по ночам на лужайке рыли могилы; из дверей отделения номер четыреста пятьдесят один выбегали крохотные ящерицы с коричневыми сморщенными мордочками, пытались схватить зубами солнце и с клокотанием в горле убегали.

«Здесь так мирно», — говорила тетушка Роуз.

Пошел снег.

«Уже скоро, — повторял доктор, — вы будете себя прекрасно чувствовать».

Он тоже, казалось, не замечал таинственных процессий с факелами, кругов из крепа и ситца, белых полотнищ, шестеренок, что завертелись и грозили трону мятежом, замшелых лиц, отпечатков пальцев — отпечатков стремительно включаемого света — и скрытой камеры.

Мой страх усиливался. Я начала бродить по ночам и испытывать приступы паники за обедом при виде кровавой клетчатой ткани и костяного фарфора — почему его делали из костей? Я пыталась понять, что происходит. Когда открывали ту самую дверь в то самое, другое, помещение, я пыталась представить взаимное расположение седьмого отделения и шестого отделения, где в переполненных палатах на приставленных друг к другу кроватях лежали престарелые пациентки с вечно открытыми ртами, впавшими щеками и беспокойно перебирающими простыни руками. Я тщилась сравнить смрад безнадежности, просачивавшийся оттуда, осквернявший нашу мебель, ковры и подушки, и запах, который я приносила из отделения номер четыреста пятьдесят один — замка, где вместо ладана воскуряли одиноче-

ство и отчаяние.

Как-то утром я увидела, что медсестра собрала мои вещи и проверяла их по списку.

«Вас переводят в другое отделение», — сказала она.

Мое сердце замерло. Я чувствовала, как кровь отхлынула от лица.

«В какое?»

«В соседнее. Тут недалеко. Четыреста пятьдесят первое».

11

Я стояла в дверях общего зала отделения номер четыреста пятьдесят один. В комнате никого не было, не считая карликовой женщины, которая шила, свесив ноги с потрепанного кожаного дивана, который вместе с другой ветхой мебелью напомнил мне старомодную приемную мистера Питерса, нашего семейного дантиста; на стенах не хватало лишь знакомой выцветшей фотографии игроков клуба «Одиннадцать первых», сидевших скрестив ноги и руки; в переднем ряду, по центру, расположился, зажав между коленями футбольный мяч, юный мистер Питерс с чисто выбритым лицом и воинственным взором. Здесь на стенах, однако, не было ни картин, ни фотографий. Постепенно характерный запах чего-то вкипевшего в пол, стены и предметы мебели стал сочиться обратно и наполнять комнату удушающим зловонием, которое — будь оно дымом — заставило бы людей кричать: «Пожар!» — и спасаться бегством от опасности задохнуться. Но что нужно кричать, когда чувствуешь не дым или огонь, а смертоносный запах?

Женщина увлеченно занималась своим ши-

тьем, и по тому, каким замысловатым был узор и с каким вниманием она его выводила, можно было понять, что она прожила в лечебнице уже много лет. Я видела такое раньше, в Клифхейвене, когда, вдев свою жизнь в иглу, пациентки вышивали скатерти, салфетки и чехлы на чайник, не питая никаких надежд увидеть их в собственном доме, на собственной мебели. Они работали увлеченно, самозабвенно, как настоящие художники; было видно, с какой любовью они относились к чему-то, что будет продано, отдано, испачкано до неузнаваемости; аккуратно сворачивали свою работу и убирали в маленькую сумку, в которой хранили свои сокровища. Рядом с крохотной пациенткой как раз была такая сумка. В ней хранились журнал, схемы узоров, нитки, иглы, возможно, что-то съедобное на дне (вроде смятой шоколадки) и что-то ценное лично для нее, что остальным могло бы показаться пустяком, но она была готова яростно защищать, если бы это попросили отдать или выбросить. Я одиноко стояла у двери, рядом с пианино с поднятой крышкой, обнаженные нечищеные шатающиеся зубы-клавиши которого вклинивались в десны из затхлого зеленого сукна, только усиливая образ, создаваемый мебелью, — пошлости зубной

гнили, приемной дантиста, общей безрадостности. Я ждала, пока не появится кто-то еще из местных пациенток, и вдруг осознала, что во время прошлых моих визитов сюда мне очень редко встречались его обитательницы. Неужели они все попрятались в свои норы? Неужели они живут в стенах и выползают только на время приема пищи? Или они были навечно замурованы и запах, исходивший от дерева, был запахом их заточения, который сочился наружу сквозь их кожу, и разум, и все тело?

Дверь общего зала не была заперта, и все же я боялась пошевелиться. Я стояла, дрожа, в углу и пыталась понять, почему меня перевели в отделение номер четыреста пятьдесят один. Я не смела выйти в сад, чтобы стать объектом любопытных взглядов и отвечать на вопросы привилегированных обитателей седьмого отделения, но не могла и заставить себя пойти в свою палату, которая была в конце коридора, где пациентам делали электрошок. Весь день я простояла в лишенном солнца общем зале. Иногда, закончив розу или доведя до совершенства ветвь с листьями, карлица радостно прищелкивала языком, отодвигала вышивку на расстояние вытянутой руки и оценивала общую картину. Осознав, что я стою без

дела, она выронила работу из рук и как будто была к ней безразлична или убеждала себя в этом; угрюмо уставилась в пустоту, выражение ее лица, веснушчатого и постаревшего (как обычно бывает у маленьких людей, чьи черты, кажется, несут двойное бремя возрастных изменений, равномерно распределяемое по всему телу при обычном росте), было хмурым.

Вдруг откуда-то из недр отделения раздались глухие звуки гонга, снова и снова, — и сразу все его обитательницы ожили, как будто звук потревожил гнездо насекомых или нелетающих птиц, и я увидела женщин, низких, высоких, толстых, худых, уродливых, азиаток, карликового роста, которые появлялись из своих уголков и укромных мест, словно из ниоткуда, держа в руках свои сумки с сокровищами, торопясь и суетясь, повинуясь гонгу. Я пошла за ними и оказалась в столовой. Следуя их примеру, я встала в очередь, чтобы получить свою порцию еды. За кухней я могла различить коридор туберкулезного крыла с его унылыми голыми полами, и меня охватило чувство безысходности. Медсестры выкрикивали приказы. Пациенток отчитывали за проступки. Заполучив тарелку с едой, каждая из них торопилась за свой стол, торжествуя, оттого что знала,

куда идти и что делать.

Я разрыдалась и выбежала из зала. Меня силой перехватила одна из сестер, усадила за один из столов и поставила передо мной мой обед. Безысходность была вокруг меня и внутри меня, она схватила меня за горло, не давая проглатывать еду. Я сидела и слушала возбужденную, раздраженную болтовню обитателей отделения номер четыреста пятьдесят один. Звучали слова «прачечная» и «швейная мастерская», пересказывались связанные с ними сплетни — похоже, пациентки отделения номер четыреста пятьдесят один были рабочей силой больницы; предмет их разговоров выдавал в них людей, которые год за годом вели один и тот же образ жизни и не ждали — не хотели — никаких перемен. Никто не рассказывал о своей семье, своем нервном срыве или его симптомах, как это бывало в седьмом отделении; очевидно, что местные обитательницы либо не осознавали своей эксцентричности, либо и вовсе принимали свое поведение как что-то само собой разумеющееся и не стоящее обсуждения.

Все делалось в спешке, безотлагательно; чай был выпит без промедления, ножи пересчитаны, и было какое-то ощущение, что самые важные события еще только впереди. Столовая быстро

обезлюдела. Я заметила, что одна из пациенток, забывшая свою сумку, бегом, в панике вернулась за ней, не успокоившись, пока не отыскала ее. Из сумки выкатилось надкусанное яблоко, она быстро подняла его и засунула обратно. Затем она поднялась по лестнице туда, где располагались большие комнаты, в которых спало большинство пациенток; возможно, она будет наводить порядок у себя в шкафчике или, как делают многие из нас, постоит пару мгновений у своей кровати, как будто бы закрепляя свое право на нее. Я попробовала пойти посмотреть на собственную комнату, провести рукой по кровати, пройтись из угла в угол, но мне приказали: «Марш в общий зал. Никому не разрешено выходить в коридор до отбоя».

Я вернулась в общий зал, который теперь начали заполнять женщины, как будто торопились попасть на интересное собрание. Пациентки шили, вязали, ссорились, беседовали, периодически поднимая глаза и посматривая с нетерпением на дверь. Радио на высокой зарешеченной полке, настроенное на местную коммерческую станцию, передавало одну за другой песенные рекламы зубной пасты, бритвы, мыла; медсестра открыла клетку и выключила прибор — тут же начались

жалобы и крики недовольства.

Вдруг одна из пациенток упала в припадке на пол.

«Это опять Марджори», — замечал кто-то. Или Ненси. Или Памела. Ее сумку сторожили, пока она не приходила в себя и не тянулась за ней, чтобы проверить, не рылся ли кто внутри, не украл ли чего.

На протяжении всего вечера сохранялось чувство, что что-то должно произойти; чем бы ни было то, чего ожидали обитательницы отделения, их вполне устраивало ощущение радостного предчувствия, подбадриваемое изредка всплесками особого волнения, когда казалось, что долгожданное событие вот-вот произойдет. Наступило время сна. Суета, суматоха и предвкушение перенеслись в коридор и вверх по лестнице; казалось, невозможно было сдержать оживленную болтовню, когда знал, что вот-вот, уже совсем скоро случится то, что должно случиться. И даже если не сегодня, то, вполне возможно, завтра? Или послезавтра? Меня провели по коридору и заперли в моей палате, мои вещи, завязанные в узел при помощи рукавов кофты, были оставлены за дверью; сон пришел сразу же, без стука.

Дни проходили. В столовой я сидела за своим

столом, не притрагиваясь к еде: запах, царивший в отделении, и общая чужеродность происходящего не давали мне покоя, не отпускали меня; еда, воздух и люди — все и всё было пропитано зловонием. Люди же… Теперь я знала, что это были автоматоны, параметр «возбуждение» которых был установлен на непонятном для них самих уровне, при этом они боялись, что нечто или некто, управляющие ими, устанут давать им задание и отпустят свободно бегать, как сломанные игрушки, и тогда им самим придется искать способ справляться с сопровождавшей их безысходностью. Через месяц такой диеты я похудела настолько сильно, что меня уложили в постель, на неопределенный срок; я была в апатии, меня кормили рисом и яичницей-болтуньей.

Они считали, что я была больна. Любопытно, что бы они ответили, поведай я им, что болезнь могут вызывать запахи, что именно смрад отделения номер четыреста пятьдесят один вытягивал из меня все жизненные силы и само желание жить? И спастись от него было нельзя: он был повсюду. Невозможно представить, что люди могли жить так, как жили эти женщины, в тесноте и одиночестве, никем не навещаемые, иногда ездившие в поездки на автобусе или на пикник

(в качестве награды за работу); что многие годы кому-то был знаком только такой образ жизни и он не изменится, пока они не умрут. Невозможно представить, чтобы двери и окна отделения номер четыреста пятьдесят один также выходили в сад, вместе с его купальней для птиц, плакучей ивой и осыпающимися розами, с его кроткими обитателями седьмого отделения, которые могли непринужденно проводить время в своей светлой «современной» гостиной с ее стульями в ярких чехлах, щепетильно приготовленной вкусной едой, со сливками и вторыми порциями.

Не было ничего удивительного в том, что одна из пациенток отделения номер четыреста пятьдесят один, миссис Джопсон, по-видимому, выпав из общего синхронного возбуждения, однажды покончила с собой, спрыгнув с пожарной лестницы.

Как-то утром, без предупреждения, мне сделали электрошок. Когда я очнулась, сделали еще раз. Когда я увидела, что аппарат везут во второй раз, я потеряла всякое самообладание и в панике закричала, а когда снова пришла в себя, увидела, что медсестра аккуратно складывает мою одежду на стуле у кровати.

«Вас переводят в другое отделение», — сказала

она.

У меня не осталось ни сил, ни любопытства, тем не менее я спросила: «В какое?»

«В Батистовый Дом».

12

Когда меня привели к дверям Батистового Дома, то предупредили принимающую медсестру: «Осторожней. Она кидается на людей».

Я никогда не проявляла агрессию, никогда ни на кого не «кидалась». Была лишь напугана, растеряна и подавлена, и аппетит у меня пропал из-за смрада, которым пропахло то отделение. Словно кусок сырого мяса выставили на солнце и на милость мух. Ведь так и было: этот запах был как солнце в том смысле, что вся жизнь отделения номер четыреста пятьдесят один вращалась вокруг него и подпитывалась от него безысходностью, и был как мухи, которые присосались к воздуху, к нашему дыханию, нашей одежде и невидимому облачению нашего сознания. Сейчас же я была в Батистовом Доме, отделении для пациентов, не поддающихся лечению, в помещении, полном бушующих, кричащих, исступленных женщин, целой сотни таких женщин, многие из которых сидели в смирительных рубашках, коротких и длинных, с фиксирующими ремнями, проходящими через промежность, с перекрещенными рукавами, завязанными грубым шнуром на

спине, не дававшими свободы рукам. На одном из концов вытянутой комнаты стоял тяжелый стол, расщепленный и склеенный грязью, за которым находились шестнадцать человек (или около того), охраняемых одной медсестрой; это был «специальный» стол, и пациенткам, которые за ним сидели, запрещалось вставать со своего места весь день, пока их не отводили по своим палатам. Меня посадили к ним, рядом с Фионой, девочкой из борстальской воспитательной колонии, которой сделали операцию на мозге и теперь заставляли носить короткую смирительную рубашку из тика.

«Ну и фто ты думаеф? — Она не выговаривала звук “ш”. — Фто думаеф? Если уф сюда попала, всё, обратной дороги нет».

Сидя за специальным столом, я наблюдала, словно зритель в концертном зале, за бушующей человеческой массой: каждая женщина исполняла собственную яростную партию в оркестре безумия; это была какая-то новая музыка, где инструментами выступали проклятия и крики, звучавшие на фоне безмолвия тихонь, свернувшихся клубочком, неподвижных и безымянных; движения пациенток складывались в балет, постановщиком которого было Помешатель-

ство; казалось, что крутили фильм, снятый на старую пленку, героями которого были атомы в тюремной робе, разбредающиеся или бегающие кругами в поисках своего потерянного ядра.

Две пациентки яростно набросились друг на друга. Я с содроганием обнаружила и в себе то чувство возбуждения, которое в предвкушении мордобоя охватило всех остальных в зале — и даже трех медсестер. И с ужасом поняла, что временами именно они провоцировали женщин на проявление жестокости. Этот трюк они проделывали с Хелен, которая шагала по комнате скованно, как оловянный солдатик, вытянув руки вперед в попытке обнять любого, кто попадется на ее пути, и шептала: «Любви, любви» — с такой интонацией, которая в голливудском фильме воспринималась бы банальной, но здесь казалась искренней и вызывала сострадание.

«Мне любви, Хелен», — подзывала медсестра, и Хелен улыбалась от предвкушения радости, осторожно шла навстречу и получала разворот и презрительный комментарий как раз в тот момент, когда ее руки готовы были сомкнуться вокруг вожделенного объекта из плоти и крови. Тогда ее любовь сменялась ненавистью: в ярости она кидалась на обидчика, а медсестра свистком

подзывала себе на помощь других сестер; Хелен упаковывали в смирительную рубашку, и, чтобы заявить о своем негодовании и разочаровании, весь оставшийся день она в исступлении металась по комнате, переступая босыми ногами, с которых сняли обувь.

День за днем я наблюдала со своего места за столом, как сестры подстрекали Хелен.

Постепенно я стала различать в этой бурлящей массе отдельных персонажей: тут была, например, Норвежская Королева, очаровательная женщина средних лет с невозмутимым выражением лица и красивыми волосами, отливавшими бронзой, заплетенными в косы и уложенными вокруг головы наподобие короны. Когда медсестры, явно получавшие от этого удовольствие, спрашивали, кто был ее обожатель, каково это было — иметь замок, прислугу, королевство, на лице ее появлялась улыбка, на щеках — ямочки, и, имитируя «норвежский» акцент, она давала волю фантазии. Еще тут была Милти, другая любимица, женщина атлетичного сложения, высокого роста, с приятными манерами и талантом к обнаружению окурков, которые она превращала в сигареты, вполне пригодные для курения. Дни напролет она вальсировала по комнате в

нежных объятиях кого-то призрака, которого не так и трудно вызвать, если ты болен. А еще, преисполненная чувства собственного достоинства, даруя ныне всегда желанные благословения, обращая пророческий взор на окружавшие ее убожество и смуту, фланировала по комнате седовласая женщина-Христос, неспокойная, в смирительной рубашке. Она молилась. И плакала. И набрасывалась на всякого, кто пытался передать Милти окурок, который она отобрала во время своего богослужения.

Но помимо тех, чей бред выражался экстравагантным образом, и тех, которые выделялись на общем фоне, потому что совершили убийство и перед ними испытывали трепет даже медсестры (лечебница славилась тем, что была «самой безопасной» в стране… для убийц), была толпа тех, кого от остальных отличало только имя (да и оно было зачастую позабыто и вытеснено прозвищем); были раздражающие эгоцентричные эпилептики, которые ссорились со всеми вокруг и к которым никто не испытывал сострадания; были исполненные гордыней и недоверием дамы, которые держались отстраненно, замкнувшись в собственном величии, но, если бы пожелали стать заметными для медсестер, могли бы по-

лучать преференции: на сигарету больше, чем положено, или сладость за то, что были «такими послушными, такими заиньками». И были пациентки, которые давно отказались от членораздельной речи и теперь издавали звуки, которые больше соответствовали здешней среде обитания: рыкали зверем, скулили, иногда лаяли и выли, точно собаки при виде луны. Другие молчали, полностью погрузившись в себя, сидели весь день, свернувшись клубочком, не шевелясь, спрятавшись под длинными обеденными столами, которые после приема пищи отодвигались к стене.

Царившее в отделении четыреста пятьдесят один запустение меня угнетало; здесь же, в Батистовом Доме, я была в таком потрясении, что перестала понимать собственные эмоции; как будто бы с завязанными глазами, пыталась нащупать дорогу среди чувств, которые не узнавала, и никакие прошлые ориентиры, которые теперь изменили свою форму, не могли мне помочь и лишь приводили в замешательство.

Я не могла поверить, что Батистовый Дом реален. Я хотела, чтобы сорванные покровы человеческого достоинства были возвращены на место (наподобие того специального эффекта

в кинематографе, когда пленку прокручивают назад), чтобы не видеть того, что должно быть укрыто.

За специальным столом я просидела несколько недель. У пациенток в смирительных рубашках (всего двадцать четыре женщины) был собственный стол; всех их кормили с ложки. Молчаливых тоже кормили, массируя горло, чтобы заставить глотать еду. Для остальных прием пищи превращался в аттракцион швыряния едой и почти горячечного возбуждения, особенно когда сосиски или сардельки заканчивались до того, как был накрыт последний стол, потому что из большой кухни в наше отделение никогда не поступало достаточно еды, и бунтующую голодную толпу приходилось успокаивать фразами вроде «Завтра вам первым подадим» или «В следующий раз получите двойную порцию».

У специального стола была привилегия первоочередного обслуживания, и поэтому мы никогда не страдали, если при расчете необходимого количества порций допускались ошибки или если большая кухня (именно ее назначали виновницей) присылала недостаточно подносов.

Иногда, получив свою порцию спрессовавшегося яблочного пирога, мы начинали сумасбродно

и расточительно разбрасываться едой, швыряясь ею в стену позади нас, отчего на ней оставались прилипшие куски и пятна. Этот отчаянный отказ от того, что представляло для нас ценность, был заразителен, как самопожертвование в военное время. Я тоже пристрастилась к забаве; мы с Фионой и Шейлой, еще одной бывшей воспитанницей борстальской колонии, были меткими стрелками, отламывали драгоценные кусочки от тощего ломтика хлеба и швыряли их через стол, в медсестер и других пациенток. Мы бы и во врача кинули чем-нибудь, но в Батистовый Дом он не приходил. Мы раздавали щелчки, мы колотили посудой по столу, мы пели непристойные песни.

Привел в кино красотку, каких и не видал,

И каждый раз, как свет гасили…

И почти каждое мгновение каждого дня я помнила, что мне сказала когда-то Фиона: «Фто думаеф? Если уф попала в Батистовый Дом, всё, обратной дороги нет».

Спали мы в двух палатах на нижнем этаже, обе запирались на ключ, обе были заставлены кроватями, тесно примыкавшими друг к другу так, что почти не оставалось пространства для прохода

и переодевания. Личных шкафчиков или других предметов мебели, куда можно было бы убрать пожитки, если бы нам разрешили их иметь, не было. Тем, кому они могли понадобиться, предлагали одиночные палаты в крыле на нижнем этаже и наверху, где также располагались две спальные комнаты для надежных пациенток, которых не было нужды запирать на замок. Сначала меня определили в одну из палат, закрываемых на ключ; мои ноги упирались в изголовье кровати Барбары. Ночью Барбара не спала. Она сидела на кровати, потирая руки и похихикивая.

Очень скоро из-за моей привычки бродить по ночам меня перевели в одну из комнат в коридоре на нижнем этаже. По утрам всех пациентов из одиночных и общих палат собирали в крохотной умывальной комнате, чтобы раздать одежду. Надежды на то, что получится помыться, было мало; входившего сразу сбивала с ног застаревшая вонь немытых тел. Голые, в тесноте, словно скот на распродаже, мы ждали беспорядочной раздачи наших вещей, причем одного или двух предметов обычно не хватало. Как-то раз я обнаружила, что мне не выдали штаны. Я подняла шум. Мне начинало нравиться поднимать шум, протестовать и пытаться отстаивать свои права и права

других пациентов, за которых я чувствовала себя ответственной. Я громко пожаловалась: «Мне не дали штаны».

«Штаны? — воскликнула старшая медсестра Вулф, острая на язык, миниатюрная, спортивного сложения, с непреклонным как скала лицом, которое она ежедневно покрывала плотным слоем косметики, служившей той же цели, что и лишайник на камнях. — Да зачем они тебе? Тут мужиков нет».

Так и было. Единственные представители мужского пола, с кем мы сталкивались, были повара с небритыми лицами, которые подносили ко входу почерневшие подносы с сосисками и тушеным мясом.

Так я и проходила весь день — без штанов; иногда не приносили чулки; каждый месяц я боялась того момента, когда мне придется попросить выдать гигиенические прокладки, потому что пару раз получала отказ, при этом перегруженный обязанностями работник заявил: «Задницу свою попроси». В конце концов мне все стало безразлично; если я хотела в туалет (а хотелось мне часто) и просила разрешения выйти из-за стола, а мне отказывали, я соскальзывала со своего места под столешницу и мочилась прямо на пол, как

животное.

Наступила зима, наше здание не отапливалось, и было холодно; иногда дождь шел днями напролет, и нам было слышно, как в лужах шумит и булькает вода, но нам ничего не было видно, потому что нижнюю часть окон заколотили, как в доме, где поселилась чума. Я вспоминала о том, какой была жизнь в седьмом отделении, о его ярких красках и доброте персонала, о милых меланхоличных пациентках, рассказывавших о своих болях и печалях, бессонницах и сентиментальных переживаниях человека, не утратившего разум, рассказывавших о доме, родственниках и планах на будущее; все казалось таким чистым, надежным и безопасным. Я вспоминала плакучую иву и арфу, теперь уничтоженную морозом и сыростью, и старшую медсестру Крид, обходившую, прихрамывая, палаты со стенами, выкрашенными в пастельные тона, расстилавшую яркие скатерти, разглаживавшую ладонями покрывала веселой расцветки. Дни проходили, складывались в стопки, как слои изоляционного материала, заглушали наше звучание даже для нас самих, так что будущее, если когда-нибудь и наступило бы, не смогло бы нас услышать; новые дни хоронили нас; мы были как люди,

погребенные под завалами, которых спасатели, блуждающие в темноте, подсвечивающие свой путь фонариками и зовущие нас, не могут услышать и в конце концов сдаются, потому что никто не отзывается; порой, место крушения даже раскапывают и находят уже трупы. Так что время, как снег, сыпалось на нас, заглушая наши крики и наши жизни, и некому было его развеять.

Пташка без крыла
Из Рая снизошла
И на стенах скакала смело.
Ее лорд, что земель не имел,
Без рук ухватить сумел,
Без коня помчал, в Белый Зал
Королю доставил умело[8].

Интересно, помогло бы, если бы мы стали разговаривать загадками, скрестив руки на груди?

---

[8] Примечания: 8
Пер. Н. Сидемон-Эристави.

13

В конце концов мне разрешили покинуть свое место за специальным столом и присоединиться к остальному рою. Мне было страшно. Я разместилась на одной из длинных деревянных скамей и повернулась к Бетти, сидевшей на другом ее конце. Я улыбнулась ей. Я надеялась, что так я смогу показать свою доброжелательность и желание помочь. Неожиданно я почувствовала тяжелый удар кулаком, прямо по носу, мои глаза наполнились слезами, сначала от боли, затем от безысходности и одиночества: как можно кому-то помочь, если он будет драться? Ко мне подошла медсестра.

«Это место Бетти. На этой скамейке сидит только она. И она из тех, кто может убить».

«Почему вы меня не предупредили?» — спросила я.

«Ну… Мне было интересно посмотреть, — ответила она честно. — Не расстраивайся. Обычное дело. Давай, присоединяйся к веселью».

В некоторые дни для нас устраивали конфетную потасовку — особое развлечение как для работниц лечебницы, которые часто говори-

ли, что «сами чокнулись уже, проводя столько времени на дежурстве», так и для пациенток. Медсестры, заскучавшие оттого, что давненько не было драк, приносили пакет леденцов, продававшихся в жестяных банках, которые каждые две недели приобретали на деньги из средств, выделявшихся на социальное обеспечение пациентов. Леденцы в бумажных обертках высыпали по центру комнаты, и получал их тот, кто добирался до них первым; народ начинал волноваться, завязывались драки, на пациенток надевали смирительные рубашки, раздавались звуки свистка; и общее напряжение, которое периодически нарастало до критической величины как среди больных, так и среди медсестер, которые давным-давно вынуждены были подавить в себе всякое желание «заботиться» об обитателях лечебницы и превратились в переутомленных и опустившихся надзирателей, зачастую получавших от происходящего садистское удовольствие, шло на спад. На некоторое время.

После схватки, когда со всеми перебранками было покончено, воцарялась необыкновенная тишина, по комнате разливалась полудрема, иногда был слышен смех, и те, кто преуспел, крепко охраняли свою сладкую, липкую добычу. Вкус у

ирисок всегда был один и тот же — пережженного сиропа, отдававшего тиной, от которого тошнило и в то же время становилось уютно на сердце. Хотя мне невероятно хотелось поучаствовать, я никогда не присоединялась к битве и наблюдала за ней со стороны; меня переполняло отвращение от осознания того, что сотрудники больницы напрочь позабыли, что их подопечные были людьми, и обращались с ними как с животными в зоопарке.

Моя собственная любовь к ирискам обострялась ночью: когда нас разводили по палатам перед отбоем, я внезапно ощущала такой сильный голод, что научилась незаметно забегать в открытую кладовую за едой; иногда у меня получалось схватить горсть конфет из только что открытой банки. Но так бывало редко. Чаще же случалось так, что я хватала кусок хлеба, выуживала мед из большой жестянки, размазывала его пальцами по ломтю вместе с муравьями и чем бы то ни было еще, запихивала то, что получилось, в потное, волосатое пространство под мышкой, и уже в тишине своей комнаты все съедала: и соль, и сахар, и крупинки песка.

На окнах моей комнаты не было ставень. Я могла видеть ночное небо и огражденный дворик с

лужами перед кирпичным зданием, из которого доносился звук двигателя и волн, набегающих на пляж, как будто бы работал частный паром, перевозивший тела с берега на берег. Однако однажды вечером мое житье в отдельной палате (но не мои тайные пиршества) было резко прервано: я лежала в постели, я услышала за дверью зловещее перешептывание. В тот день мне было особенно трудно выполнять приказы медсестер, я «дерзила» и кричала от безысходности; и теперь меня переполняли недобрые предчувствия; я задавалась вопросом, каким будет мое наказание. Шепот продолжался.

«Завтра отведем ее на шоковую терапию, — говорил один из голосов. — Самую сильную из тех, что ей делали. Сбежать она не может. Вы же хорошо заперли дверь?»

«Да, — ответил второй. — Ее уже записали на электрошок. Должен привести ее в чувства, а то совсем стала забываться. Нужно хорошенько ее проучить. Завтрак завтра не давать».

«Завтрак не давать, — повторил другой голос. — Записана на электрошок».

Мое сердце колотилось так быстро, что мне было трудно дышать; меня охватило сильнейшее чувство паники и, разрушая и уродуя единствен-

ный оставшийся для меня клочок неба, я разбила окно кулаком, чтобы выбраться наружу или раздобыть себе что-то, чем могла уничтожить себя, лишь бы не допустить наступления завтрашнего дня и невыносимой электрошоковой терапии.

Давно прошли те старые времена в Клифхейвене, когда я была «храброй» и старалась соблюдать спокойствие, становясь в очередь на процедуру и наблюдая за пациентками, лежащими без сознания на койках, которых вывозили из процедурного кабинета. С того самого утра в отделении номер четыреста пятьдесят один, когда мне назначили сразу две процедуры, одну за другой, я жила в страхе, что однажды утром дверь отворится и медсестра встретит меня словами: «Сегодня утром вы без завтрака. Не переодевайте ночную рубашку и халат. Вас записали на процедуру». Страх жил во мне, даже несмотря на то, что больше мне ничего не назначали и, как я выяснила, перевели меня в Батистовый Дом, потому что «ничего не могли со мной поделать».

На шум бьющегося стекла прибежала медсестра; меня переселили в комнату напротив, темную и со ставнями на окнах; дрожа, я залезла между холодными жесткими простынями на кровать, которая не согревалась из-за подложенного куска

непромокаемой прорезиненной ткани и была неудобной из-за торчащих из матраса соломин. Мне дали паральдегид, и я уснула.

На следующее утро страх вернулся, однако мне сообщили, что я ошиблась и никакого «лечения» не планировалось.

Я не могла больше контролировать свой страх; он никуда не исчезал и только усиливался; день за днем я досаждала медперсоналу, спрашивая, и спрашивая, и спрашивая, не собираются ли мне делать ЭШТ, или сотворить еще что-то ужасное, замуровать заживо в туннеле под землей, чтобы никто не услышал меня, сколько бы я ни звала, или удалить у меня часть мозга и превратить в чудное цепное животное в полосатом платье, которое нужно будет водить по округе на поводке.

Каждый раз, когда я видела, что главная медсестра и старшая медсестра Вулф беседуют, меня терзали муки неизвестности. Я точно знала, что они говорили обо мне, планировали убить меня при помощи электричества, отправить меня в Тюрьму Маунт-Иден, где на рассвете меня повесят. Иногда я кричала на них, чтобы они прекратили разговаривать; случалось, что нападала на медсестер, потому что знала, что они что-то скрывали от меня, отказывались посвятить в

свои ужасные планы. А мне нужно было знать. Нужно было знать. А как иначе могла я защититься, подготовить все необходимое для экстренной ситуации, сохранять спокойствие, чтобы в случае необходимости действовать хладнокровно? Если бы только рядом был кто-то, кто мог все честно рассказать!

Я бы спросила у доктора. Но где он был? Всем было известно, что изменения психики обитателей Батистового Дома «зашли так далеко», что особой пользы в том, чтобы доктор тратил на них свое драгоценное время, не было, что продуктивнее было лечить обитателей седьмого отделения и выздоравливающих пациентов, которых еще можно было «спасти». Нашего врача в помещениях Батистового Дома я видела только один раз. Он переходил, прихрамывая, из палаты в палату. На лице его читались страх и ужас, сменявшиеся недоверием, как будто бы он говорил сам себе: «Быть такого не может. Я же молодой врач, я полон энтузиазма, всего лишь несколько лет назад выпустился из института. Живу с женой и ребенком в доме через дорогу, который нам предоставили официальные службы. Бог ты мой, да как же узнать, как должно быть устроено обиталище души?»

14

Посетителей было немного, лишь группка самых преданных, которые пришли с термосами и авоськами, полными вкусной еды, чтобы тихо и смиренно при помощи куска торта, печенья или сладостей пообщаться с теми, для кого надобность в речи давно отпала. В день посещений, сразу после обеда, когда столы были отодвинуты к стенам и мы снова начинали рыскать по комнате, меря шагами истертый деревянный пол, или сидели на столах, подняв колени и являя собой немыслимый кукольный театр, у двери в коридор, который вел в комнату для гостей, сооружали ограду из деревянных скамей.

После того как была завершена унизительная проверка, сопровождавшаяся комментариями «Джейн? Ой, нет. К ней никто не приходит. Дора? Вроде кто-то был. Но обычно им все равно. Мэри? Да к ней за все время, пока я тут работаю, вообще никто ни разу не явился. Фрэнки? Ну может быть», тех, кого посчитали достаточно приличными, чтобы к ним могли прийти посетители, выводили из стойла, словно подобранный для выставки скот, чтобы приодеть. Две медсестры

приволакивали завернутые в простыню вещи, узлы развязывали, и все самое «лучшее», кому бы оно ни принадлежало, передавалось тем из нас, кому хоть как-то было впору. Ожидавших своей очереди женщин, с которых уже сняли потерявшие свою яркость платья в цветочек, быстро приводили в порядок при помощи скребка, влажной тряпки и принадлежавшей отделению расчески. Их обували в казенные туфли, черные, со шнурками, под прибитым пылью слоем ваксы. Начинались бойкая топотня, попытки кататься по полу, как на коньках, и брыкаться. Из наволочки на пол высыпали подвязки; раздавали их вместе с настойчивыми уговорами не стреляться ими, а надеть поверх чулок, чтобы те не сползали.

На некоторых пациентках были серые больничные носки; другие же, чьи родственники помнили, что душевнобольные тоже могут носить одежду, привычную для внешнего мира, по крайней мере, надевать ее по особым случаям, какими были дни посещений, щеголяли в собственных, самых настоящих, капроновых чулках. С невероятной заботой вынимали они их из гладких целлофановых конвертов. И то, что через час или два чулки будут точно испорчены, не имело

никакого значения. Пока нескольких пациенток все еще приводили в порядок, большинство из тех, кого не пустили за ограду, вели себя привычным образом, и трудно было заподозрить, что они знали или беспокоились о том, что в течение ближайшего часа кто-то сможет пообщаться с внешним миром и вернется взволнованным, раскрасневшимся, настроенным на насилие, сжимая в горсти скоропортящиеся трофеи, добытые во время несуразного сафари по давно покинутому лабиринту человеческого общения. Некоторые лишь раздражались из-за того, что был заблокирован их привычный маршрут по комнате, впадали в панику, как муравьи, потерявшие феромонный след своей тропы; другие не обращали внимания ни на что.

Или же так казалось. Если только кто-то из женщин не осознавал, что упорядоченные проявления ее безумия брали начало в том моменте, когда у нее отняли бесхитростное чувство хотения.

Тетушка Роуз оставалась моим верным гостем. Она создавала впечатление чего-то неопределенно-плюшевого, как гостиная с пуфиками, и мне было трудно поверить, что ее племянницей была я; казалось, что она была тетушкой для других

детей гораздо в большей степени, чем для меня (да, я тоже воспринимала себя ребенком). Как же я была рада ее видеть. Мы сидели в столовой соседнего отделения, под командованием старшей медсестры Вулф, занимавшей место за особым столом в передней части комнаты, озиравшей всех присутствовавших и временами властно произносившей: «Тишина, пожалуйста». Посетители пугались — их следовало пожалеть, поскольку их эмоции проявлялись узнаваемо, их лица свободно показывали страх, одиночество, раздражение, смирение, сочувствие, и они еще не научились надевать маску ничегонечувствования. Переводя взгляд с посетителя на пациента, трудно было сразу сказать, кто есть кто, пока не замечал замороженное выражение лица и манеру держаться, как будто все существо человека превратили в некое подобие желе, отлитое по форме Батистового Дома.

Тетушка Роуз робко ждала на своем месте, как можно дальше от старшей медсестры. Как ни старалась я соблюдать правила приличия, как только вошла и получала от нее мокрый поцелуй с ароматом клубники, уже не могла отвести глаз от ее сумки, гадая, какие гостинцы она принесла. Она все понимала и тут же, как из рождествен-

ского чулка, доставала запас, приготовленный для нашей совместной трапезы; она ела не торопясь, изящно откусывая маленькие кусочки, в то время как я хищно набрасывалась на съестное, тайно стыдясь своей жадности.

Как-то раз она принесла в подарок сумку, которую сшила для меня. «Чтобы у тебя было где хранить свои вещи», — сказала она. Котомка была из розового кретона, на шнурке, с розами по верхней каемке и круглым картонным донышком; когда я засовывала внутрь руку, рука напоминала мне пчелу, забравшуюся в цветок. Чувство гордости переполняло меня. Но я понимала, что сумку мне придется охранять. У меня не хватило смелости сказать тетушке Роуз, что, возможно, котомку у меня отберут, прикрепят на нее бирку и будут хранить в чулане для чемоданов, чтобы вернуть лишь тогда, когда меня выпишут из больницы, или, как в случае пациентов Батистового Дома, обреченных остаться тут «навсегда», отдадут моей сестре или самой тетушке, когда я умру, а родных оповестят, что требуется, чтобы кто-нибудь забрал мои «вещи». И все же во мне теплилась надежда, что мне удастся оставить котомку себе: я знала, что у пары пациенток, живших наверху, были свои маленькие сумочки,

которые они не выпускали из рук; но они не шли ни в какое сравнение с моей, не было у них ни шнурка, ни розочек.

Моя сумка была подобна пропускным документам для въезда в страну потерянных людей. Я больше не была кем-то, кто со стороны наблюдал за обитателями отделения номер четыреста пятьдесят один и их пугающей заботой о своем скудном имуществе; я была полноправным гражданином на этой территории, и надежды на то, что когда-нибудь я смогу пересечь эту границу в обратном направлении, почти не было; я принадлежала миру сумасшедших, и нечто гораздо большее, нежели запертые двери и зарешеченные окна, отделяло меня от людей, которые были в здравом уме.

Зато у меня была розовая котомка, куда я могла прятать свои богатства.

Дождь не прекращался неделями. Когда работники большой кухни приносили подносы, им приходилось стоять в лужах, и дождь стекал с их клеенчатых накидок. Нам было холодно, голодно и скучно, поэтому, чтобы оживить обстановку, пациентки иногда дрались; я сама тем не менее никогда не вступала в драки ни с кем, потому что моим долгом было защищать их от недоброже-

лательности персонала, и меня огорчало, когда в качестве оправдания за свои слова, которые бы обычный человек посчитал жестокими и обидными, медсестра говорила: «Да она же все равно не соображает. Вообще не понимает, что я говорю. Не видишь, что ли, что все эти тетки всё — считай, мертвы?»

Может показаться странным, что практически никто из медсестер никогда не проявлял сострадания; но потом вспоминаешь те случаи, когда появлялся человек, который и желал бы заботиться о своих пациентах, однако, не найдя в себе сил продолжать дальше одинокую борьбу в тяжелейших условиях нехватки персонала и двенадцатичасового рабочего дня, либо опускал руки, либо превращался в затравленного, ленивого лицемера и садиста, рассыпающегося любезностями в седьмом отделении и превращающегося в монстра в Батистовом Доме.

После дней и дней непрекращающихся дождей погода вдруг прояснилась, и нас выпустили из провонявшего помещения на улицу, разрешив погулять в маленьком дворике под промытым голубым небом: продрогшие, мы стояли или сидели на перилах полуразвалившейся веранды и смотрели на гавань с ее яхтами, темно-синими

пятнами там, где была глубокая вода, жемчужными отмелями и спиралевидными узорами на илистом берегу в период отлива. Помню, как мама сочиняла идиллические песни об этом северном крае, которого она никогда не видела, — «Заходили корабли в гавань Вайтемата». Вид илистых отмелей вызывал у меня ностальгию по тем моментам, когда я стояла на пляже в отлив, тени облаков ползли по ребристому узору на песке, а я выкапывала пальцами ног моллюсков.

Иногда со своего места на перилах мы с Фионой и Шейлой могли видеть пациентов-мужчин: мы бесстыдно осыпали их непристойностями и рассказами о том, какие у нас прелестные ножки, или молчали в приступе отчаяния оттого, что были не более чем обитателями Батистового Дома. К тому же было холодно. Иногда на мне не было штанов, или обуви, или чулок, потому что их не выдали утром, а времени у медсестер на то, чтобы в суматохе, когда нужно одеть сотню человек, заниматься еще и кем-то, кто, как я, мог сам позаботиться о себе, попросту не было.

Я сидела на веранде или бродила по двору, прихрамывая из-за того, что у меня на ноге образовалась болячка. У многих из нас были раны на ногах и руках, поэтому по обшарпанным де-

ревянным лестницам не прекращалась беготня — вверх и вниз, чтобы поправить повязку или сделать укол пенициллина. Теперь я полностью была своей для этого народа, и тех, что буйствовали, и тех, что мертвецки — как паузы в звучании мелодии — лежали на земле. Теперь я знала их язык, который, хотя и создавался при помощи слов, лишенный прежних смыслов, принимал новую форму разумности; так слепые через прикосновения учатся понимать формы, в созерцании которых им было отказано природой. Я видела, что окружающие меня люди почти наверняка знали то, что другие боялись позволить себе подозревать, — вещи не то, чем кажутся. Я знала, что тихая темноволосая женщина, наблюдавшая через щель в заборе за тем, как рабочие копают в глине глубокие канавы, чтобы отремонтировать канализационные трубы, на самом деле смотрела на то, как роют ее могилу. А когда медсестра приходила за Марией, потому что к ней неожиданно явился гость, для Марии не существовало никакого гостя. На руках ее были следы пыток, которые ей пришлось пережить во время пребывания в концентрационном лагере; разум ее был травмирован еще сильней. Она почти не понимала по-английски. Хотя я и научилась говорить

по-сербохорватски: «Привет. Мы твои друзья. У тебя милая улыбка», а медсестры, проникшись тем фактом, что она была чужестранкой, и видя неоспоримые доказательства когда-то перенесенной боли, сначала прилагали усилия, чтобы успокоить ее и обращаться с ней ласково; ничто, казалось, не могло ей помочь — не в том состоянии, когда каждое приглашение подойти, например, в палату наверху означало последний поход в пыточную или газовую камеру.

Несмотря на то что я могла (как мне казалось) поддержать «осмысленную» беседу, здесь было не так много людей, с кем можно было поговорить, но и в этом случае приходилось мимикрировать, использовать ментальную маскировку, наподобие солдат, прячущих шлемы под ветками, чтобы слиться с окружающей растительностью и ослабить бдительность врага. Но разве не так поступают все люди, когда им приходится покидать уютный внутренний мир и лицом к лицу встречать опасности, сопряженные с человеческой коммуникацией? Я общалась с Фионой, которая не умела ни читать, ни писать, и испытывала трудности, когда ей требовалось облечь свои мысли в слова: как будто каждый раз, когда она хотела что-то сказать, покинуть свое внутреннее

пространство, хлам отупения, заваливший проход, словно обломки рухнувшего здания, не давал ей открыть дверь, давил, погребая заживо, и она снова пряталась внутрь, оставляя всякие попытки выбраться наружу с помощью речи. Ей было проще швыряться вещами, выкрикивать ругательства, хихикать и издавать странные звуки, не имевшие никакого смысла для постороннего, и тем не менее полные смысла, — как будто она нашла способ посылать сигналы из погребенной под завалами комнаты.

Еще я общалась с Шейлой, второй девчонкой из борстальского исправительного учреждения, сообразительной, два раза выходившей замуж, один раз разведенной барышней двадцати лет. У нее была невероятная способность заводить тайные связи с пациентами-мужчинами. Однажды она с гордостью призналась мне, что у нее в туфельке спрятаны шестипенсовая монета, четырехпенсовая монета и ключ, который один из пациентов сделал в токарном цеху и работник с кухни принес вместе с подносом с тушеным мясом. Я хотела, чтобы ее побег удался. Ночью она провернула старый добрый трюк, соорудив на кровати муляж из простыней, — к утру ее след уже простыл. Газеты пестрели избитыми

заголовками (так мне кажется, потому что сама я их не видела, конечно) «ИЗ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СБЕЖАЛ ПАЦИЕНТ»; люди стали запирать двери на ночь, а днем собираться, чтобы пожаловаться на халатность инстанций и отсутствие мер безопасности в крупнейшей психиатрической больнице страны, где, как известно, «находятся самые опасные убийцы»; в газетах печатали письма, в которых звучали призывы начать «действовать» и высказывалось негодование, «как обычный гражданин может теперь, когда чокнутые бегают на свободе, спокойно ходить ночью по улицам».

Шейлу нашли, мужчину тоже — того самого «опасного пациента», который сбежал вместе с ней. Ее поместили в одиночку, где она радостно распевала про матримониальные терзания одного фермера — «Сладкие фиалки, слаще, чем розы» — и маорийскую «Покарэкарэ-ана» и, выбивая барабанную дробь по спинке кровати, общалась с Фионой, которая стала совсем неуправляемой в ее отсутствие, так что пришлось запереть наверху. Даже доктор пришел проведать Шейлу — редкая честь. Она и его очаровала, выклянчила у него пачку сигарет; уходя, он сказал медсестре, улыбаясь: «Дайте барышне дозу паральдегида.

Она его просто обожает».

Неделю спустя у Шейлы случилось кровотечение в почках, а еще через две недели она умерла; посреди ночи пришли мужчины и увезли ее тело на каталке.

Смерть отвлекала лишь на мгновение — короткий перерыв и легкая паника в промежутке между ударами сердца.

Не я общалась с Луизой, а она со мной. «Знаешь, — говорила она, помогая себе жестикуляцией, — в нас же целые мили кишок».

«Три сотни, если быть точным».

Я представляла себе диаграммы в виде плотно притертых труб, которые показывают в рекламе средств от запоров и для лечения печени, поэтому меня не удивляло, что мысли о канализационной системе человеческого тела преследовали Луизу до такой степени, что вытесняли все остальное, доводили до безумия. Ночью она не могла уснуть, думая о коридорах кишечного тракта и настойчивости пробирающихся через них отходов. А еще ее беспокоило, как она сказала, что лишь капли кислоты достаточно, чтобы «прожечь слизистую оболочку и стенки желудка». Я вздрогнула, живо представив кислородно-ацетиленовую сварку в человеческих внутренностях; подозреваю, Луиза

очутилась в хорроре, более страшном, чем любой научно-фантастический рассказ: она открыла для себя предмет и объект всех историй ужасов — самого человека.

Я жалела Луизу: ей хотелось быть рассказчиком, но ее никто не слушал, и она действовала людям на нервы — что тот Старик Моряк, изъездивший весь мир, она курсировала по дневной палате, сдерживая рукой «одного из трех». Однажды ночью, когда наш «табун» гнали, поторапливая, по коридору, я заглянула в одну из боковых палат и увидела Луизу: она сидела на постели, ее красивые вьющиеся черные волосы были острижены, а голова обрита. На макушку наискосок была надета хлопковая шапочка. Меня охватила паника. Я все поняла. Я уже видела, как такое случалось с другими: миссис Ли, миссис Мортон, Флэтти. Утром их увозили в какую-то больницу в городе, а ночью привозили с повязкой на бритой голове и укладывали в боковых палатах, где они лежали с покрытыми испариной, бледными лицами, с почерневшими, как будто заполненными чернилами глазами. Этот тип хирургического вмешательства стали практиковать совсем недавно; как сообщалось, благодаря ему «люди менялись».

После операции Луиза стала более послушной, реже впадала в ярость, если ее «истории» отказывались слушать; она мочилась в штаны и радостно хихикала, однако постепенно начала следить за своей внешностью, но не известно, причиной тому была операция или изменившееся к ней отношение окружающих. Она стала центром внимания; с болезненным любопытством ее заваливали вопросами медсестры, которых передергивало от одного взгляда на Луизу и любую другую пациентку с лысым черепом; при этом в разговорах друг с другом они повторяли: «Ужас какой. Аж мурашки по телу».

Луиза так и продолжала болтать о целых милях кишок, но теперь, когда ей сделали операцию, теперь, когда она «изменилась», все соглашались с тем, что у нее была надежда, а вот у остальных, с их очевидно неприемлемыми личностями, напротив, шансов не было никаких или почти никаких.

Луиза поправлялась. Доктор приходил к ней аж два раза в неделю! По мере того как тянулись дни ее пребывания в Батистовом Доме, ажиотаж вокруг операции сходил на нет, а у доктора больше не находилось времени, чтобы навещать ее дважды в неделю, хотя она и продолжала вести

себя послушно, Луиза опять стала более небрежно относиться к своей внешности, кажется, снова была не против ходить под себя, и медсестры, чувствуя себя обманутыми (как это бывает, когда перемены не оправдывают ожиданий), узнавая «старую» Луизу, удобно спрятавшуюся за ширмой «новой» Луизы, оставили всякие попытки перевоспитать ее. Очень скоро она снова стала не более чем одной из орущих и скачущих по комнате теток.

Порой, сидя в своем любимом углу, я замечала, как она отрешенно улыбается. Целые мили кишок!

15

Есть у безумия одна сторона, о которой редко пишут в художественной литературе, потому что это повредило бы распространенному романтическому образу сумасшедшего как человека, чья речь поэтична по своей природе; в реальности же непринужденная офелиана, похожая на пересказ каталога семян, или излияния безумных джейн, воспеваемых за их романтичное свободолюбие, встречаются крайне редко. Немногие из тех, что шатались по общему залу, могли бы сгодиться на роль героини (в общепринятом понимании); очень немногие были похожи на очаровательных, непосредственных чудачек. Большинство из них вызывали лишь неприятные эмоции: раздражение, враждебность, злость. Их поведение было оскорбительным, вызывало чувство дискомфорта; они плакали и стонали; они ссорились и ябедничали. Они были неудобством, и с ними обращались как с таковым. Было давно позабыто, что в них тоже было нечто от человека, который нуждается в любви и заботе, что в переполняющей их пошлости можно было выловить крупицу поэзии.

Весна продлилась так долго, как вообще может длиться на севере Новой Зеландии, где лету не терпится скинуть с неба все покровы и явить миру ясные дни, подернутые дрожащей пеленой теплого воздуха; где зима тоже настойчиво требует, чтобы медлительная меланхолия сменяющих друг друга красок и осенних рос, свойственных этому времени года в южном полушарии, поскорее уходила. Быстро наступившая весна наполнила сухой холодный воздух мягкостью и теплом, ароматом цветов, тяжелым медовым запахом распустившихся кустов, огненных метросидеросов и интимно-лиловых фуксий. Из густых зарослей буша вернулись птицы туи и медососы-колокольчики и завели свои песни бок о бок с гостями из Англии — дроздами; а опьяненные медом белоглазки бродили вокруг забора и росшей за ним фуксии. Выходя во двор, мы втягивали воздух носом, шлепали по застарелым лужам и наблюдали, как влажная земля и затененные уголки снова становятся сухими; мы смотрели на стальное море с его неровностями и картой глубин.

Светило солнце. Появились грузные мухи, еще больше разжиреющие летом. Нам сделали прививки от тифа. Усаживая каждую из нас на

старый стул посреди двора, медсестры устраивали еженедельное расчесывание с обработкой головы керосином для уничтожения вшей.

Участились ссоры и потасовки — все больше пациенток закрывали в одиночках; хотелось танцевать без видимых на то причин и имея на то все причины; молчуньи по обыкновению своему молчали, лишь изредка кривя губы и показывая беззубые десны, бестолково взирая на мир; их лица были морщинистыми, бурыми, словно пожухшие листья, — такого цвета кожа была у большинства из нас; сначала я пеняла на солнце и ветер, но позже поняла, что это была печать чего-то еще, цвет застоя, расползающегося изнутри и отравляющего кожные покровы.

Мне разрешили оставить мою розовую кретоновую сумку. Я таскала ее с собой повсюду, и теперь она была вся перепачкана, с крошками старого торта под картонным донышком и пятнами меда на подкладке. У меня был томик Шекспира с листами из тонкой, будто папиросной, бумаги, на которых теснились мелкие буквы, напечатанные черными чернилами, все время казавшимися непросохшими, — словно постоянно появляющиеся новые следы на песке, которые упрямые волны никак не могут стереть. Книгу я читала

редко, но она все больше и больше разваливалась, начали выпадать картинки, расклеиваться листы, как будто кто-то неведомый постоянно ее изучал. Это свидетельство тайных чтений вызывало у меня чувство благодарности. Казалось, книга поняла, что стряслось, и согласилась составить мне компанию и самостоятельно дышать переполнявшими ее переживаниями, несмотря на то, что я перестала ее открывать; однако же книги жаждут, чтобы их читали, и потому эта решила, что будет читать себя сама, постепенно роняя страницы. Тем не менее запертая по ночам в своей палате, где окна были закрыты ставнями и куда не проникал свет, думая об обитательницах Батистового Дома и постигших их несчастьях, я вспоминала про себя строки:

Несчастные, нагие бедняки,
Гонимые безжалостною бурей,
Как, бесприютным и с голодным брюхом,
В дырявом рубище, как вам бороться
С такою непогодой?

И я думала о смятении, которое люди вроде графа Глостера испытывают, стоя у обрыва:

Мне кажется, путь ровен.
Страшно тут.
Вы слышите шум моря?[9]

Снова и снова в голове моей возникал образ короля Лира, блуждающего по болотам, и я вспоминала стариков из Клифхейвена, сидевших на улице рядом со своим тоскливым отделением: никого — ни в здании, ни в голове — не было дома.

[9] Примечания: 9
У. Шекспир «Король Лир». Пер. Т. Щепкиной-Куперник.

16

День сосисок, день яблочного пирога, день посещений, день операции.

День каждый день.

А еще был вечер кино.

Сначала кино показывали в понедельник вечером, проецируя картинку на стену в вонючей запиравшейся на ключ ночной палате, где мы сидели на чужих кроватях, а их хозяева ревниво смотрели на то, как единственное место в лечебнице, которое они могли назвать своим, насильно было отдано кому-то другому. В этой атмосфере взаимного недоверия драки были обычным делом; в ходившей ходуном комнате было почти видно, как от кроватей поднимается копившееся в них годами амбре, точно дымка над болотом. В конце концов было решено перенести все в общий зал и показывать фильмы на стене за специальным столом.

Было лето, светлое время суток тянулось до последнего, резко уступая место лакричным ночам. Как можно было увидеть что-то днем на бежевой стене, забрызганной пятнами от сосисок и яблочных пирогов? Никак, на окнах еще и штор

не было. Тем не менее фильмы нам показывали: хилые изображения метались поверх пятен на штукатурке, в то время как из задней части комнаты, где робко разместился киномеханик (один из санитаров), принесший с собой плоскую серебристую коробку с надписью «ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО!» и забаррикадировавшийся от нас столами и лавками, летели звуки, потрескивая, будто горящая шина, или шипя, словно вода, которую веником выгоняют из лужи. Неслись неровные, полные ярости и злобы голоса, сменяющиеся жалобными просьбами; иногда звучали выстрелы, провоцируя наши охи и ахи; малышка Грейси подбежала к импровизированному экрану и пригрозила кулаком порхавшему по стене силуэту злодея.

Фильм повествовал о событиях последней экспедиции Роберта Скотта: призрачный Джон Миллс и его четыре спутника пробирались сквозь перепачканные яблочным пирогом снега и, как казалось из-за странного оптического искажения, уходили за угол и вон через дверь. Я переводила взгляд с их обмороженных рук на покрытые ранами конечности наших пациентов, носом чувствовала запах засохшей мочи, а на зубах грязный снег, каким он становится, опускаясь

на кишащую жизнью землю, соприкасаясь с травой, асфальтом, заборами, домами, тюрьмами, антеннами, церковными шпилями и людьми в пустыне, и неважно, насколько чистым он был, когда покидал небеса. Было странно видеть, как люди, которые, возможно, были первыми моими героями, гуляли по стене нашего общего зала, в цвете (так предполагалось, во всяком случае), как и сулил «Техноколор», слышать за спиной их голоса и вспоминать свой детский дневник в обложке в красную крапинку, куда я пыталась записывать стихи. Самый первый из них назывался «Капитан Скотт».

«Капитан Скотт», «Пески», «Алкание», «Сосны» — получалось, что капитан Скотт ассоциировался у меня не с пустошами Антарктики, а с тремя сосновыми рощами, существующими в моей голове: беззаботной, купающейся в рыжих лучах солнца; строгой, мрачной, скрывающей в дебрях хижину со страхом; молодой, которой никак не давали вырасти, выкорчевывая и калеча ее деревья.

Было ли замечено, что картина «Скотт Антарктический» оказывала терапевтический эффект на больных психическими заболеваниями, и поэтому за время моего пребывания в Трикрофте и Клифхейвене ее показывали целых три раза?

Неизвестно. Но однажды, когда объявили, что для показа приготовили комедию «Ночь в опере» с братьями Маркс, мои воспоминания затрещали, словно одна из тех лодок-пыхтелок, когда поджигаешь у нее на корме свечку. Многие-многие годы я берегла детские воспоминания об этом фильме: как мы еле передвигали ноги от смеха, как, держась за руки, шатаясь из стороны в сторону, шли по вечерним субботним улицам, вдоль по Рид-стрит и вверх по Иден-стрит, весело галдя: «А помнишь, где он…», «А она ка-а-а-ак…» Другие фильмы: «Город-призрак» (где шерифа убивают под камнедробилкой), «Исчезнувший экстренный поезд» (где экспресс слетает с горящего моста в альпийскую реку, а его бригада и золотые слитки обнаруживаются невредимыми в следующей серии), «Человек-невидимка» (где главный герой делается невидимым, нажав на кнопку на приспособлении у него на талии, напоминающем старомодные детские корсеты) — меркли на фоне той чистой радости, которую дарила «Ночь в опере», с сумасшедшими, назойливыми братьями, шустро уворачивающимися от проблем среди декораций, сценических лесов, дымоходов и сверкающих люстр, разбрызгивающих радужные лучи перед негодующими пышногрудыми

спесивицами.

Мне было очень любопытно, кому пришло в голову выбрать «Ночь в опере» для показа на покрытых пятнами стенах Батистового Дома. Киномеханик прибыл, построил свой форт и сразу же запустил кино — задом наперед, с писком, скрипами и шуршанием пленки.

«Я перемотаю», — сказал он.

Перемотал.

Я сидела смущенно, как бухгалтер, проверяющий отчетность за прошлые и текущие периоды, и ждала, пока смогу связать их, написав что-нибудь в колонке «Перенос на счет следующего года»; колонка так и осталась почти пустой. Фильм начался, исполосованный вертикальными и горизонтальными линиями света, словно под дождем. Я смотрела на Харпо с его копной кудрявых волос, круглыми глазами, из которых, как вода из бассейна, переливалась грусть, и арфой, украденной из плакучей ивы, что растет перед седьмым отделением; ее струны были порваны.

Я смотрела на Граучо, с сигарой в зубах крадущегося в женскую раздевалку; даже на нашей стене его глаза светились очаровательной греховностью.

Но смеяться не хотелось. У меня во рту привкус

старых тряпок, и я ковыряю рану на руке, которая каждый день покрывается коркой, похожей на крышку колодца, из которого вытекаю я сама.

Где мой доктор-лозоходец, который мог бы рассказать, осталось ли там что-то от меня? Где таинственные незнакомцы в капюшонах, черных шляпах и с посохами, готовые пустить сверкающую кровь? Все сущности, что любят солнце…

Солнце озаряет смертные творения,
Пробуждая ото сна разум человека,
Ради всех округ и в уединении[10].

Милли сделала на полу лужу, а Эвелин колотит Ненси; Фиона, заскучав, поет во весь голос. Кто-то с проклятиями бросается к стене и начинает по ней бить кулаками, как будто хочет добраться до сокровищ, спрятанных за дверью сказочной потайной комнаты. Звук съедается, искажается; есть что-то беспокойное и раздражающее в том, как нечеткие фигуры никак не могут вырваться из плена неконтрастности и приобрести наконец убедительные черно-белые очертания, принять на себя ответственность за творящееся сумасбродство, мельтешение и неразбериху.

---

[10] Примечания: 10
У. Х. Оден «Хвала».

Ибо наверняка спаситель появится не в небе и не под деревом где-то в глуши, а начнет вещать на радиоволне или с экрана кинотеатра!

Тем временем бледные братья скачут, подрагивая и подергиваясь, на стене и не вызывают ни капли смеха, особенно у отрешенных, лишившихся разума оттого, что не выходят за пределы своей кожи и ее многоклеточных куполов, разносящих эхо звонящей в колокола луны.

Мы начали плакать.

«Так, ладно. По кроватям, дамы. Без жалюзи все равно никакого толку не будет».

Киномеханик разбирает свою цитадель и уходит, а нас разводят по постелям; если удалось уснуть, то для тебя хлипкие декорации дня сменяются нарисованным реквизитом мира снов. Остальным же ничего не остается, как лежать в темноте в ожидании утра и надеяться наперекор всему, что то, что говорят им голоса, — обман.

17

Больницу, как сообщалось, собирался посетить заместитель министра здравоохранения по вопросам гигиены психического здоровья.

Все были в панике. Он пользовался репутацией человека, увлеченного своей работой (как бы хотелось, чтобы министры и их заместители обладали этим качеством повсеместно), и имел обескураживающую наклонность игнорировать приготовленную для него приманку — показные палаты, при этом настаивал на ознакомлении с условиями жизни в убогих помещениях, обычно скрытых от посторонних глаз. В день, когда ожидался его визит, всех нас вымыли и расчесали; чтобы не затаилась ни одна вошь, головы нам обработали керосином, а тех, кто нуждался в бритье, выстроили в очередь перед ванной комнатой, чтобы медсестра навела порядок безопасной бритвой. Каждому выдали чистую одежду, и поскольку, по слухам, замминистра ратовал за индивидуальный подход при уходе за психиатрическими пациентами, некоторым завязали волосы атласной лентой и прошлись почти израсходованной помадой по морщинистым

губам. Поскольку все мы начали день в чистой одежде и в штанах, число походов в туалетные комнаты необычайно увеличилось; это были грязные помещения с кабинками без дверей и бетонными полами; чаши унитазов часто становились хранилищем неожиданных сокровищ вроде порванных журналов, лоскутов и кусков дерева, и потому почти всегда стояли забитыми; приходилось постоянно вызывать сантехников с вантузами, чтобы устранить затор. Сегодня же туалеты были вымыты до блеска жидким средством «Джейз Флюид».

Избавиться не удалось только от мух. Был самый разгар лета, кроме того, предупредить о чем-либо мух невозможно, да и не приняли бы они всерьез никакое предупреждение, мол, замминистра собирается приехать с проверкой, следовательно, требуется экстренный массовый забой. Я предложила свою помощь, ведь это означало бегство на некоторое время из общего зала; я училась быть изобретательной и использовать подвернувшийся шанс, поэтому, чтобы не вызывать подозрений, я действовала не слишком настойчиво. Как бы между делом я заметила: «Я могла бы помочь — если хотите».

К моему восторгу мне выдали распылитель с

дустом и велели пройтись по коридору, куда мухи слетались, влекомые запахом мочи, несвежего постельного белья и немытых тел.

Я ходила взад и вперед, выпуская клубы ДДТ. Зашла в одну из боковых палат, где лежала миссис Холлоуэй, которой недавно сделали лоботомию; я видела, что она умирает. Глаза ее были закрыты, веки склеены вязкой желтой коркой, по лицу ползали мухи. Я разбрызгала дуст над ее лицом — необходимый прощальный жест — и покинула комнату.

Не знаю, показали ли ее заместителю министра; умерла она несколькими днями позже.

С нами, кстати, он тоже не общался. Любопытно узнать, что же ему все-таки продемонстрировали во время визита в Психиатрическую больницу Трикрофта. Седьмое отделение с его доброжелательной обстановкой, яркими скатертями в клетку, приятными покрывалами, стенами в пастельных тонах и цветами?

Рассказали ли ему, что в качестве неординарного вклада в развитие нового подхода к лечению психических заболеваний один из молодых врачей основал театральный клуб и сам сыграл роль передней половины льва в пьесе «Андрокл и лев»? Поведали ли, что в большом зале устра-

ивают танцы и выставки картин, на которые приглашают многих пациентов из других отделений? А как же насчет Батистового Дома? Знал ли он, что тут не хватает еды? Что нам — как считалось, безнадежным больным, которые обречены провести остаток жизни в лечебнице, — не нужна была та доброта, которую согласно новым инструкциям изредка прописывали обитателям седьмого отделения и выздоравливающим пациентам?

Я потеряла счет месяцам и годам. Кажется, было одно или два Рождества, когда на стене и вокруг двери появлялась сыпь из звездочек и в течение двенадцати дней позволялось распространять инфекцию надежды на лучшее (а затем наступал черед воды и мыла, которыми все это смывали); когда посередине потолка вздувался разноцветный бумажный нарост в форме луковицы и главная медсестра Боро, входя в общий зал нашего отделения в сопровождении старшей медсестры Вулф, при виде раскачивающегося симптома из бумаги восклицала от восторга: «Ах, ах!» — словно врач, обнаруживший причину болезни, а затем провозглашала: «Счастливого Рождества!» — обычное праздничное пожелание, которое в свете прошлого опыта общения с ней

из ее уст звучало для нас как угроза, замаскированное сообщение: «Вам назначена процедура».

Я помню, что пришло больше посетителей, чем обычно, с дежурными покаяниями-подношениями и подарками: духами, маслом для ванны и парфюмерными наборами, которые позже у нас отнимали и, не сняв подарочной упаковки, убирали на хранение в чулан для чемоданов. Какую они могли иметь пользу, кроме как служить жалким выражением надежды на лучшее тех из родственников, которые никогда не переставали верить, что наступит день и Бетти, или Мэгги, или Минни, как старую кожу, сбросит с себя то, что затуманивало ее разум, и снова станет такой, какой была до того, как «это» случилось; до того, как семья, оправившись от первого шока и, возможно, стыда за то, что стала свидетелем нервного срыва у кого-то родного и любимого, наконец смирилась с зависимостью от расписаний автобусов и поездов и долгих поездок в больницу в дни посещений и для разговора с врачами, серьезными людьми в белых халатах и очках (в точности похожими на тех, кого показывают в рекламе надежных лекарственных средств, прошедших клинические исследования, где кишащих в воздухе микробов убивают буквально

одним взглядом), с суровым взором (как и подобает убийцам микробов), способным заставить выложить семейные секреты. По прошествии лет только на Рождество с его многочисленными Санта-Клаусами, красными от стыда, обитавшими в увитых зеленью пещерах и берлогах, похожих на магазины, семья вспоминала, что нужно что-нибудь отправить или взять в подарок для «бедной» Бетти. Или Мэгги. Или Минни.

И медперсонал, и пациенты чувствовали облегчение, когда Рождество заканчивалось, потому что в этот день всех, казалось, терзали воспоминания, жалившие, как осы, и возглавляемые, как это часто бывает с воспоминаниями и осами, одним-единственным мстительным мерзавцем, который в жажде своей довести дело до конца набрасывался, и набрасывался, и набрасывался на жертву.

Время, однако, самым загадочным образом не двигалось ни в праздничные разукрашенные дни, ни в неотличимые друг от друга серые будни, и проживать его было все равно что наблюдать за кружащимся волчком, убеждая себя в существовании едва заметных перемен и, возможно, задаваясь вопросом, чья рука держала тот кнутик, что запустил этот вечный сон вращения.

Не знаю, не могу вспомнить, когда медсестра пришла за мной и сказала: «Вас переводят в седьмое отделение», однако в какой-то момент я осознала, что снова гуляю по саду, спрятав в памяти пережитое в Батистовом Доме, подобно тому как прячут деньги в маленькие мешочки, которые потом зашивают в нижнее белье, чтобы чувствовать себя безопасно во время путешествия по новым местам, и используя эту валюту, как используют весь прошлый опыт, при заключении сделок со временем, существующим по законам нового места — седьмого отделения с его чужеродно-светлыми интерьерами. Теперь я беспрестанно испытывала страх и недоверие. Между родителями и врачами шли переговоры о том, чтобы сделать мне операцию, передавались короткие сообщения, напоминавшие дипломатические ноты, которыми обмениваются далекие иностранные державы. В конце концов во «вмешательстве» в мой мозг было отказано! Днями напролет я бродила вокруг ивы, пытаясь заворожить ее загадками. Тетушка Роуз по-прежнему приходила меня навестить, приносила куски пирога, фрукты и сладости; даже мой отец отправился на север, чтобы повидаться со мной — впервые за все время моего пребывания в

лечебницах.

В день его визита я сидела под деревом и надеялась, что выгляжу спокойной и здравомыслящей. Я не сомневалась, что он будет с опаской гадать, как же выглядит и ведет себя его дочь, насколько же она больна, что врачи предложили лоботомию. Я знала, что он придет вместе с тетушкой Роуз: деловитая манера, с которой она будет раздавать еду, придаст всему событию упорядоченность торжественной церемонии, и отец, человек молчаливый, всегда испытывающий застенчивость в минуты глубокого чувства, будет ощущать себя более комфортно.

Подошло время посещения. Отец был один. Он сел рядом со мной. Губы его дрожали, из-за чего появлялось типичное для нашей семьи надутое выражение лица, черта, которой несколько поколений назад наша генетика отдала предпочтение и которую с тех пор лелеяла. Он начал говорить о тетушке Роуз, о том, сколько доброты она ко мне проявила, отправляясь каждую неделю на трамвае в такую даль, чтобы меня навестить.

«Истина, — сказал вдруг отец, — тетя Роуз умерла. В четверг у нее случился инсульт».

Часть III. Клифхейвен

18

Несмотря на протесты врачей, моя сестра выписала меня из больницы и, взяв двух маленьких сыновей с собой, отвезла домой на юг. На выходных к ней должен был присоединиться муж.

Домашние говорили о моем пребывании в «психушке» в шуточной манере, и я щедро делилась с ними тем, чего они, казалось, хотели: сочиняла забавные описания пациентов, чьи симптомы соответствовали распространенному представлению об умалишенных; о своем же пребывании в лечебнице я говорила как о несчастной случайности, когда оказалась среди людей, которые — в отличие от меня — действительно были больны. Этот образ здравомыслящего человека, как будто бы невольно застрявшего во вращающихся дверях безумия, когда и вовсе не было никакой необходимости подходить к зданию, помог утихомирить мою задетую гордость и уменьшить обеспокоенность родных, которая, будучи вполне осязаемой и доставлявшей неудобства, жила где-то в глубине и заявляла о своем присутствии лишь мимолетным жестом или выражением лица, которые для меня, однако, были тягучими

и детальными, как кадры замедленной съемки.

Моя комната, из окна которой были видны кусты остролиста, сирени и фуксии, пропахла чем-то кислым, застаревшим, как будто вскрыли коробку, которая простояла запечатанной много лет. За время моего отсутствия книги, хранившиеся в книжном шкафу и на полках у стен, казалось, впитали в себя больше сырости и гнили, чем обычно, как будто общение с человеком было оберегом от разрушения; по краям страниц обосновались крохотные червячки с черными глазами и приступили к бесконечной трапезе, которую они, похоже, не собиралась прерывать, как если бы книги сами велели им пожирать, и пожирать, и пожирать их плоть, поскольку та, что жаждала их духовной пищи, давным-давно покинула их или умерла.

Как можно было отказать себе в эмоциональной эксплуатации одной из вечных тем, которая с завидным постоянством находит отражение в мифологии и религии, — темы Возвращения? Хотя временные сроки не всегда имеют значение, и порой достаточно пяти минут, когда ты выбегаешь отправить письмо или купить продукты, чтобы произошли всеобъемлющие изменения и все пришло в упадок, я осознавала,

что отсутствовала целых пять лет. Я не узнавала когда-то знакомых людей, и если я встречала кого-то из них на улице и со мной по-дружески заговаривали, я училась вести беседу, не вдаваясь в подробности.

«А кто это был?» — спрашивала я потом у сестры, которая неизменно сопровождала меня во время прогулок в город. Мы смеялись, шутили над недостатками моей памяти и вместе размышляли, что же такого могло случиться в «загородном особняке», из-за чего я столько всего не помню. Когда мы обменивались детскими воспоминаниями, я испытывала не радость и воодушевление, а острый приступ одиночества. Было много всего, чего я не могла вспомнить, но на этот раз, страшась образовавшейся пустоты, я заполняла ее выдуманными образами — и никто, никто ни о чем так и не догадался.

Стояла осень, деревья в городских садах становились золотыми, рассветы кутались в шифоновый туман, вереницы капель холодной росы крепко держались за травинки. Дрозды помогали больным, брошенным, поросшим лишайником яблоням избавляться от последних обмякших гнилых яблок, и когда я гуляла в высокой траве под деревьями, я растаптывала ногами плоды,

разоряя обиталища крохотных червей, обосновавшихся в них на осень, выстроив целый лабиринт у самой сердцевины плода. Весь щавель вызрел, и его семена опали, а стебли были превращены пауками в молочно-белые шпили; ветер гонял распушившиеся семена чертополоха по бело-голубой разметке неба; вата с серебристых тополей лежала обманчивыми снежными сугробами.

Я ходила по огороженным участкам для скота и сидела в окружении овец. Я взбиралась на вершину холма, где сходились темные, похожие на артерии линии электропередач, и прислушивалась к их гулу, стону и покалыванию. Я собирала шиповник и отдыхала рядом с потрепанным деревом матагури; выискивала в небе знамения; наблюдала, как по дороге в город фермеры ехали на своих больших машинах, или размеренно подпрыгивали редкие двуколки, или на продажу везли овец, жалобно блеявших арпеджированными аккордами; прислушивалась к крику погонщика, подзывавшего своих собак, и далекому шуму моря. Я смотрела, как султанки в парадных темно-синих и красных одеждах на утрированно осторожных цыпочках, крадучись перемещаются по заболоченному берегу ручья,

как сороки в утренних костюмах слетаются посплетничать в эвкалиптах, как грозные ястребы, ловко скользящие на потоках ветра, поджидают подходящий момент, чтобы атаковать.

Иногда я сидела под большой раскачивающейся и вздыхающей елью, приговоренной к смерти за то, что мешала линиям электропередач. Ее лапы были усеяны рядами шишек, разбухших от солнечного тепла и вскрытых его лучами, — семена, словно крохотные деревья, были разбросаны в траве и хором издавали вздохи, когда ветер проводил по ним рукой. Со своего места на холме я видела, как внизу по дороге ехал на велосипеде почтальон, звуком свистка оповещая жителей домов о своем прибытии. Мое сердце замерло, когда он подошел к нашему почтовому ящику в форме дома с нарисованной кирпичной крышей и нарисованными, привычным образом стянутыми шнуром занавесками на фронтальных окнах и прорезью для писем, замаскированной под дверь. Я пошла украдкой вниз, вдоль живой изгороди, через ручей и сосновые насаждения, дальше вниз к воротам дома и почтовому ящику. Бросилась к нему, забрала письма и вернулась в укрытие под соснами.

Но почему?

Ничего необычного. Я размечталась, что письмо будет адресовано мне и это будет любовное послание, что я унесу его к себе в комнату и буду перечитывать снова и снова, выучу его наизусть, тщательно изучу почерк и попытаюсь его скопировать, а если окажется, что строки выведены зелеными чернилами, поменяю и цвет собственных чернил. Но кому могло понадобиться написать мне любовное письмо?

Сестра сообщала, что была беременна. Ночью, лежа в постели, я плакала от жалости к себе и от осознания своей чужеродности в этом мире, уткнувшись лицом в подушку и заглушая волнение и вздохи осужденной на смерть ели: «Господи боже мой, почему во мне такая пустота?»

19

Я провела дома шесть недель. Пока однажды ночью фосфоресцирующие скелеты не были сложены в загонах, чтобы быть сожженными и измельченными, а умеющий читать и писать ветер не стал разносить по округе свои культурные отходы, а неуемное море, то наступающее, то отступающее, не утомило вечными рассказами о себе и намеками недавнего лета на человечность (которые были теперь лишь упаковкой от мороженого и апельсиновыми очистками), а кора деревьев и люди в небе не стали казаться лишь бумажками, пропитанными светом и наклеенными в технике декупаж, а мой отец не застонал, а мать не очутилась вычерпывающей кровь из своих огромных туфель, а я не оказалась в Клифхейвене, в постели в наблюдательной палате; я с ужасом смотрела на процедурный кабинет, потому что храбрости больше не было и я не могла больше успокаивать себя, декламируя про себя старые стихи о яблоках, которые не может потревожить ни гниль, ни плодожорка, которые лежали, плод мечты, в щедрых потоках лунного света; не могла я себя успокоить и тем, что

условия могли измениться, что старые грозные методы не будут применяться, чтобы добиться от пациента немедленного повиновения и сотрудничества.

«Истина вернулась».

На меня смотрели с любопытством и сочувствием. Мне рассказали, что доктор Хауэлл, наш Булка, уехал, чтобы заняться общей практикой в богатом пригороде на побережье; как передавали те, кто мог контактировать с внешним миром, по воскресеньям после обеда Булку с женой и детьми можно было заметить на пляже — со всеми этими надувными матрасами, ведерками и лопатками. Новый врач, доктор Стюард, высокий, хилого телосложения, худой, лет тридцати пяти, казалось, был под полным контролем мисс Гласс. Если он осмеливался уделить кому-то из подопечных немного больше времени, чем обычно, главная медсестра Гласс обращалась к нему, как к заплутавшему мальчишке, а потом делала назидательное замечание пациенту: «Зачем вы отнимаете так много времени у доктора Стюарда? Вы же видите, что он занят. Кроме вас в отделении еще девяносто семь женщин. Если с каждой подобной вам возиться, дня не хватит».

«Вам подобные» по-прежнему оставалось

излюбленной фразочкой нашей главной медицинской сестры. Другая начиналась словами «Ей нужно…» и продолжалась особым предписанием, актуальным на данный момент, с которым нерешительный доктор Стюард обычно соглашался.

В наблюдательной палате меня продержали недолго. Пока я лежала в постели, миссис Пиллинг и миссис Эверетт по старой памяти присылали мне небольшие вкусные гостинцы, а иногда сами приходили, чтобы поболтать, и с сожалением отмечали: «Никто больше не убирался в коридоре, как ты, Истина». Они наперебой рассказывали, что старые времена «натираний до блеска» прошли, что доктор Портман собирался модернизировать больницу и начал с того, что приобрел замечательный аппарат — электрический полировщик полов, у которого также была функция уборки, если ты не забывал повернуть правильный переключатель, конечно же, но ни у кого из нынешних пациентов не было никакого чувства ответственности, никто, кажется, не обращался с аппаратом надлежащим образом, поэтому он вечно находился в ремонтной мастерской, так что в конце концов пришлось вернуть ручную уборку — ну и результат сразу налицо. И еду теперь по отделениям развозили в закрытых

фургонах, а не в кузове тарахтящего грузовика, который умудрялся половину расплескать, а вторую изгваздать в пыли. И уголь теперь возили не на телеге, которую тащили, сгорбившись и надрываясь, два старика, точно две клячи между оглоблями, при этом ухоженные санитары бодро шли следом и покрикивали; уголь доставляли на грузовиках, в кузове которых приезжала бригада крепких молодых ребят; старики же, запертые в отделении, суетились, ничего не понимая, каждый день в восемь утра готовились впрячься в телегу, еще и плакали, когда никто не приходил за ними с криком: «На уголь! Пошевеливайтесь!»

Миссис Пиллинг и миссис Эверетт рассказали мне, кого отправили домой, а кто все еще находится в лечебнице, а кого перевели в другое отделение; что Норма устроилась на работу в небольшой гостинице в городе и чувствует себя нормально, что Мэри сказали, что она может идти домой, если кто-нибудь готов о ней позаботиться, но таких не нашлось; что на холме строится новое — открытое — отделение для таких пациентов, как Мэри, с прекрасным видом на море, и что это будет самое современное здание во всей больнице. Но никто из больных не хотел туда переселяться, они умоляли, чтобы им разрешили

остаться, есть и спать там, где они привыкли есть и спать за свои двадцать, тридцать или сорок лет пребывания в лечебнице, а не придумывать новые категории пациентов: по слухам, отделение было предназначено для «хроников». «Это же что получается? Что мы тут навсегда?» — говорили они: сколько бы времени ни провел каждый из них в больнице, у него всегда была возможность тайно фантазировать о лучших временах, а наличие бирки «Хроник», даже при том, что каждый из них понимал, что заболевание действительно было хроническим, казалось, убивало всякую надежду и разрушало мечты. «Когда я выберусь отсюда…», «Когда-нибудь, когда я…»

Несмотря на любезные намеки миссис Эверетт, беспокоившейся о натирании полов до блеска, когда мне разрешили вставать с постели, меня не удостоили званием Главного Полотера. Не было моего имени и в важных списках, которые теперь составлялись в рамках «трудового» подхода к терапии, и вывешивались на стене в столовой. Работники в палатах. Работники в прачечных. Работники в медсестринском корпусе. В прежние времена, конечно, тоже были назначения на дежурство, но никто не оформлял их в виде аккуратных перечней и не водружал на почетное

место в столовой.

Я боялась всего и вся. Меня заверили, что ЭШТ делать не будут, но разве им можно доверять? Как вообще хоть кому-то можно доверять? Я боялась главной медсестры Гласс и ее мрачного сарказма, ее поддевок о «плохом поведении» и «самодисциплине», когда я паниковала или убегала, и ее замечаний о том, что я должна уже была привыкнуть к больничной жизни, раз провела в лечебницах столько лет. И старшей медсестры Хани я тоже боялась, ее обыкновения внезапно объявлять за завтраком: «Сегодня я просматриваю содержимое ваших шкафчиков» — это заявление, похожее на замаскированную угрозу, всегда вызывало у меня чувство паники, как будто, «просматривая содержимое» моего шкафчика, сестра Хани могла найти улики, которые я позабыла спрятать и которые вот теперь уже точно помогут обвинить меня в преступлении. Другие, по всей видимости, испытывали похожие эмоции, ведь шкафчики, находившиеся рядом с кроватью, были единственным местом, где мы хранили все, что считали своей собственностью и что, отделенное от нас, было очень уязвимо; ощущение было такое, как если бы мы оставляли в них крупицы самих себя.

В такие дни мы вылетали из-за стола сразу же, как звучало: «Вставайте, дамы», и всеми правдами и неправдами старались добраться до своих улик. Обитателям палат на нижних этажах было проще; те же, кто находился в наблюдательной палате, запиравшейся в ожидании процедур, упрашивали, чтобы их выпустили, только чтобы добежать до шкафчика и привести его в порядок, уничтожив следы тайных сокровищ. В случае провала нарушителя стыдили, устраивали ему за ужином выговор: старшая медсестра Хани держала в руках куски черствого пирога или грязное нижнее белье и зачитывала имена; и неизменно казалось, что ей удалось отыскать нечто большее, чем просто мусор, что, вопреки нашей воле и к нашему нескончаемому стыду, ей удалось проникнуть в наши самые сокровенные тайны.

Приступы страха становились все более неконтролируемыми, и однажды главная медсестра Гласс и старшая медсестра Хани огласили свой совместный рецепт: «Ей нужно…»

«Вам нужно, — сказала мне главная медсестра, — взять себя в руки. Вам нужно некоторое время пожить во втором отделении».

20

Итак, меня отправили к странным людям, которых я видела во время моего предыдущего пребывания в Клифхейвене; в первый же день я перелезла через ограду обратно, но меня встретили словами: «Возьмите себя в руки. Вы же бывали уже в подобных местах. Не делайте вид, что это вам в новинку». И главная медсестра — собственной персоной — отконвоировала меня назад; передавая на руки старшей медсестре Бридж, подчеркнула: «Она знакома с порядками в таких отделениях. И ее нужно хорошенько проучить».

Часть второго отделения находилась в новом здании, построенном на месте старого корпуса для пациентов, не поддающихся лечению, который сгорел вместе с тридцатью семью его обитателями за год до моего первого прибытия в Клифхейвен. Старый Кирпичный Дом все еще использовали для размещения на ночь шестидесяти семи пациенток.

Внедрение «нового» подхода проходило во втором отделении проще за счет того, что ему принадлежали новые жилые помещения, состоявшие из столовой, «грязного» общего зала, где

запирали пациенток с активными проявлениями их болезни и держали больных с периодическими припадками все то время, пока приступы не прекращались; «чистого» общего зала, в котором стены были увешаны морскими и горными пейзажами, мебель была новая и яркой расцветки (впрочем, как и мебель в «грязной» комнате), из окон высотой от пола до потолка, занимавших целую стену, можно было увидеть изредка проходящих мимо людей и пробегающих трусцой собачонок, а еще наблюдать за тем, как деревья меняли свой цвет согласно времени года, поэтому ощущения, что тебя замуровали и бросили гнить в заброшенном доме, не создавалось. В другой части здания располагались ванная комната с тремя ваннами, два туалета на несколько кабинок (в одном без дверей, во втором с дверями высотой три четверти), кабинет персонала, амбулатория, подсобка для одежды и гардероб, а также хранилище для вещей, столовая и кладовая для пищевых продуктов. Двери отделения выходили во двор, откуда, если пойти через дорогу, можно было попасть в парк, а если через двор, то в Кирпичный Дом с его запираемыми на замок одиночками, грязными групповыми палатами и открытыми общими спальнями на верхних

этажах. Урок пожара не прошел для больницы бесследно. Под руководством доктора Портмана во всех зданиях были установлены системы автоматического пожаротушения; существовавшие пожарные лестницы и выходы были приведены в порядок, а на верхних этажах были построены новые.

Во втором отделении ни на кого не надевали смирительные рубашки. Циники отмечали, что в этом и нужды не было, так как все самые тяжелые больные погибли в огне; и все же дело было не только в этом: чем больше ты узнавал о заведенных здесь порядках, тем больше понимал, что смирительные рубашки были пережитком старых методов лечения или, скорее, сдерживания. В то время как в Трикрофте самая вкусная еда (и в достаточном количестве), самые радостные картины, самые цветастые покрывала доставались седьмому отделению, где жили так называемые «разумные» пациенты, в Клифхейвене самым светлым было второе отделение. Правда, исключительно с точки зрения распределения цветов! И нечего думать, что спрятанные за стекло и в рамы картины, висевшие на стенах палат, подвергались нападениям беспокойных больных. Несмотря на то что никто не интересовался или

даже особо не любовался интерьерами, вандализмом никто не занимался. В течение дня кто-то мог разбить окно, однако картины оставались нетронутыми, а горшки с цветами целыми. Казалось, что те обитательницы отделения, которые умели более-менее вразумительно изъясняться, излучали чувство довольства от нахождения здесь, которое распространилось и беззвучно расцвело даже в том пустынном мире, в который удалились самые отрешенные пациентки.

Пирог к чаю, шоколадный торт, торт с розовой глазурью, торт мадера — и если не хватало на всех, то привилегиями пользовались, как можно было бы предположить, не более «разумные» пациенты, которые могли «оценить» то, что они получали, а те, кто дни проводили в «грязном» зале, которым подавали еду в первый заход (иногда так и выходило, когда вместо сидения за столами они вставали со своих мест и начинали ходить кругами), те слабоумные, которые проводили солнечные дни лежа, как животные, прикидываясь мертвыми перед лицом большой опасности, или бегали, носились и прыгали по парку или во дворе. Отбой у них был в четыре часа. Мы видели, как они мчатся мимо дверей «чистого» зала в своей грязной полосатой одежде, прижимая к

себе остатки еды: куски радужного бисквита или фруктового пирога.

Старшая сестра Бридж любила их. Однажды, в момент откровения, о котором она позже сожалела и из-за которого чувствовала ко мне враждебность, какую часто испытывают по отношению к тому, кто знает о наших реальных или воображаемых слабостях, она рассказала мне, что начала работать медсестрой еще запуганной девчонкой в те времена, когда на всех тревожных и буйных пациентов в обычном порядке надевали ограничители движения и смирительные рубашки; и что после своего первого дня на дежурстве она проплакала большую часть ночи и решила (хотя и не сдержала своего обещания) уволиться, покинуть это ужасное место и стать медсестрой в обычной больнице, где пациентов не унижали и не обижали из-за их болезни, где было понятно, в чем причина недуга, и достаточно было приготовить аккуратную повязку с мазью, чтобы успокоить боль и излечить рану, и где не нужно было прибегать к насилию, чтобы удержать больного в постели. Но здесь, в Клифхейвене — или в любой другой психиатрической лечебнице — источником перевязочного материала для раны, которую невозможно ни увидеть,

ни измерить, становишься ты сам; в то же время просто необходимо забыть о том, что пациенты тоже люди: их так много, и дел так много. Проще всего кричать, колотить, сгонять в кучи.

Сейчас старшей медсестре Бридж было тридцать шесть, и она была замужем за одним из санитаров. Рыжеволосая, веснушчатая, толстая, краснощекая, с внешностью как у мясника, она настолько вписывалась в привычный образ властной, бесчувственной медсестры, что, казалось, он сам выискал ее и прилип к ней в качестве маскировки, чтобы защитить ее и придать ей весомости среди представителей ее вида, чтобы укрыть от посторонних глаз ее нежную натуру. Она знала многих пациентов уже долгие годы, они любили ее и доверяли ей, и ее отношение к ним обычно можно было описать как весело-саркастичное, когда сказанные ею слова, по сути насмешливые (привычка, которую она, вероятно, приобрела, много лет назад, когда училась производить впечатление на авторитарную главную медсестру), пока летели в воздухе, как будто бы трансформировались, сливались с ее жизнерадостностью и доброжелательностью, так что не воспринимались адресатом как обидные. Она была как заклинатель, умудряющийся пре-

вратить выдыхаемый огонь в вино. Пациенты довольно улыбались, что бы сестра Бридж им ни говорила. Иногда мне становилось любопытно, не отказалась ли она и вовсе от слов как от средства коммуникации и доносила то, что имела в виду, каким-то другим способом, вслух хаотично выкрикивая (обычно она кричала) что-то, что граничило с оскорблением и можно было услышать от любой другой медсестры в лечебнице.

К сожалению, я наблюдала за сестрой Бридж слишком пристально. Эта естественная самоотдача по отношению к тем, кто находился у нее на попечении, была чудом, заслуживавшим восхищения; какой же печалью наполнилось мое сердце, когда однажды она заметила, с каким восхищением я наблюдала за тем, как она почти что телепатически обменивалась эмоциями с пациентами. Она засмущалась, закраснелась и сердито повернулась ко мне.

«О, — протянула она саркастично, — кто-то любит наблюдать? Изучаете меня, мисс Всезнайка? Может быть, я тут что-то не так делаю?»

«Да нет же, — сказала я, — не в этом дело». И замолчала.

С тех пор старшая медсестра Бридж испытывала ко мне неприязнь и использовала любую

возможность, чтобы обидеть. Случайным взглядом я застала ее врасплох, и неожиданно для себя самой она как будто бы обнаружила себя, что породило в ней чувство дискомфорта, граничившее со страхом.

Теперь ей доставляло удовольствие причинять мне боль, и уверенности ей придавали слова главной медсестры: «Ее нужно хорошенько проучить».

21

Однако я буду не права, если скажу, что вторым отделением заведовала старшая медсестра Бридж, когда на самом деле это были Мэри-Маргарет и Элис. Мэри-Маргарет держала кладовую с продуктами под своим контролем, подобно тому как генерал занимает вражескую территорию. Она руководила намазыванием масла на хлеб, приготовлением тостов, разрезанием и раздаванием торта, мытьем посуды из большой кухни. Когда после каждого приема пищи тарелки и чашки домывали, Мэри-Маргарет открывала дверь и с могучим боевым кличем швыряла подносы вниз по деревянной лестнице, где они и оставались как попало лежать, пока их не забирал кухонный фургончик. Сколько бы раз старшая медсестра Бридж ни делала замечание, что подносы бьются и что из кухни поступают жалобы, Мэри-Маргарет продолжала поступать по-своему. Сестра Бридж пожимала плечами, широко улыбалась и говорила: «Ну что же, Мэри-Маргарет, дадим тебе еще один шанс».

Мэри-Маргарет была крепко сложенной женщиной с прямой осанкой и белоснежными

волосами, на голову она надевала полутюрбаны — разного цвета в зависимости от дня недели, что придавало ей цыганский вид. Ее глаза были глазами провидца, и можно было бы с уверенностью сказать, что все, на что смотрела Мэри-Маргарет, было чем-то, что было доступно лишь ее взору и пониманию; по сравнению с ней, давным-давно выпустившейся из университета смотрящих, остальные были всего лишь на этапе изучения основ.

Она предпочитала, чтобы ее звали дамой Мэри-Маргарет; по ночам, когда, по своему обыкновению, она стояла наверху каменной лестницы Кирпичного Дома, и вела живую трансляцию на Египет, она всегда представлялась слушателям как дама Мэри-Маргарет. «С вами была я, дама Мэри-Маргарет. Доброй ночи, Египет. Доброй ночи, Мир. Доброй ночи, все, где бы вы ни были».

Затем она пела:

Отец Всевышний, охрани
Нас от губительной волны,
Спаси от бездны, ада злей,
И силу в руки наши влей.
В угрозы миг, в опасный час

Зовем тебя, услышь же нас[11].

Добавляла еще одно «Спокойной ночи, Мир», взяв все три сумки со своими многочисленными пожитками, которые она всегда носила с собой, с трудом поднималась наверх и шла спать в одну из незапираемых ночных палат.

Сестра Бридж не могла не относиться к даме Мэри-Маргарет как к равной, не спрашивать ее советов (поскольку ее собственные так часто игнорировались) и не извиняться сокрушенно, когда Мэри-Маргарет перечисляла своим могучим голосом недостатки в распорядке дня. Дама Мэри-Маргарет заявляла миру — и себе, что она это она. «С вами дама Мэри-Маргарет», — выкрикивала она, открывая окно, чтобы бросить хлеба воробьям, рассевшимся внизу на кухонных подносах в ожидании запретных крох.

«Кормить воробьев не разрешается», — напоминала ей сестра Бридж.

Дама Мэри-Маргарет не обращала внимания. «Божьи создания, — выкрикивала она военным голосом и, торжественно повернувшись к старшей медсестре, уже в обычной, но театральной манере обращалась к ней, красноречиво, на-

---

[11] Примечания: 11

У. Уайтинг «Отец Всевышний, охрани». Пер. Н. Сидемон-Эристави.

стойчиво и четко проговаривая слова: — Сестра, нам нужно больше пирога к чаю», как если бы просила центр о пополнении припасов для тех, чья жизнь зависела от нее, — для военного подразделения, оставшегося без снабжения, или выживших после катастрофы государственного масштаба.

Рядом с дамой Мэри-Маргарет каждый чувствовал себя так, как будто бы был тут лишним. Казалось, ей никто не может быть нужен, что она обладала властью (которой она, конечно же, не пользовалась) убрать из жизни все избыточное, вроде людей и зданий, и полностью существовать в своем собственном мире, которым для нее были Египет и пустыни Северной Африки.

У нее был сын, красивый молодой человек, студент университета, который приходил ее навещать. Внешне она никак не показывала своих чувств к нему, но ее поход в зал для посетителей был тщательно подготовленной кампанией, завершавшейся победой, о которой она никому не рассказывала. В те дни она повязывала на голову два полутюрбана, сильно красилась, нанося целых два слоя пудры, и возвращалась со своими тремя сумками, нагруженными гостинцами, которые можно было есть, надевать и хранить в

шкафчике, чтобы, если вдруг захочется, рассматривать в ночи, когда луна светит сквозь сетку на окне.

Элис, которая руководила хозяйственными делами отделения вместе с Мэри-Маргарет, тоже была средних лет, но скромная, с тихим голосом; опрятно носила больничное хлопчатобумажное платье в полоску, серые чулки и черные казенные туфли со шнурками; в течение дня, пока выполняла самостоятельно возложенные на себя обязанности по уборке, тщательно прятала под головной убор серебристые волосы. Казалось, что Элис истончалась с каждым днем все больше и больше, однако глядя на то, как тщательно и ответственно она работала, было трудно поверить, что причиной тому был физический недуг, а не душевное истощение. Ее истинное место было на борту «Мейфлауэр» или в молитвенном доме квакеров; по крайней мере, так могло казаться ровно до того момента, пока ты не становился свидетелем того, как ночью, сидя в постели, она расчесывает свои длинные седые волосы и, растряхивая пряди по плечам, каким-то волшебным образом не разжимает напряженные губы и не начинает рассказывать, рассказывать, рассказывать о событиях из жизни, когда ее похищали

средь бела дня и контрабандой провозили на кораблях в Испанский Мэйн или когда глубокой ночью бандиты тащили ее в пещеры в Гималаях. Держали там, надеясь получить выкуп. Пытали. Угрожали. И она, конечно же, не лгала. Пока она повествовала, по ее губам скользило что-то, что в рекламах называют «секретный ингредиент», просачивалось внутрь слов и заставляло нас верить в правдивость ее рассказов. С наступлением утра волосы ее исчезали под полосатой хлопчатобумажной шапочкой, она надевала свое казенное платье, снова принимала привычный строгий вид, педантично и благоговейно принималась за уборку.

Самым дорогим имуществом для Элис были ее тряпки для натирания до блеска и мытья, которые она стирала каждый вечер и вывешивала на бельевую веревку, тянувшуюся от окна «грязного» зала к окну столовой через поросший травой и усыпанный мелким гравием задний дворик. Дама Мэри-Маргарет и Элис были единственными, кому разрешалось вывешивать одежду на улице. При этом помещение они покидали осторожно, посмотрев направо и налево, а возвращались торопливо, словно убегая от преследователя, и только оказавшись в безопасности, за стеклами

окон, они возвращали себе свою уверенность. Если Элис и заводила какую-то беседу в дневное время, то говорила она об уборке, о полосах на линолеуме, в которые никак не втиралась мастика, о скользких местах, настолько опасных, что «кто угодно может сломать ноги», или о Дне реквизиции, ее личном празднике, когда старшая медсестра Бридж приглашала Элис заглянуть в шкаф с постельным бельем и выбрать новые тряпки, и Элис перебирала материю, прикасаясь здесь, разглаживая там, уделяя пристальное внимание размеру, качеству ворса и износостойкости. За этим процессом обычно следовало краткое чаепитие в компании старшей медсестры, кусочек пирога к которому выдавала дама Мэри-Маргарет: хоть она и нечасто общалась с Элис, все же, понимая важность этой церемонии, благосклонно поощряла ее.

Элис часто рассказывала одну историю, для которой не требовался секретный ингредиент, чтобы убедить слушателей в ее правдивости. Когда она была еще совсем молодой, у нее удалили грудь. Мы знали об этом и отводили глаза в сторону или смотрели с болезненным любопытством, когда она натягивала байковое платье в полоску на свое иссушенное тело, которое, как некоторые

все-таки догадывались, хотя сама Элис оставалась в неведении, тайно взращивало рак. За неделю до смерти Элис все еще занималась тем, что начищала и натирала поверхности до блеска, отказываясь бросить свои дела; в конце концов ее силой уложили в постель. А кто, стенала она, тряпки постирает? И как вы поймете, какую тряпку для чего использовать? И кто лучше меня знает каждую трещинку на полу, каждый уголок, как знает садовник каждый комок земли у себя в саду, мореплаватель — воды океана, а художник — фактуру своих картин?

Элис умерла ночью, испытывая невероятную боль. Нас утешало то, что медсестра, которая была в это время на дежурстве, обращалась с телами умерших бережно. Рассказывали, что она прихорошила Элис: пара движений, умелое использование ваты — и вот уже щеки полны и румяны, лицо изящно накрашено, а в руках букетик свежих цветов. При знакомстве только с той Элис, которую мы видели днем, строгой и трудолюбивой, можно было бы подумать, что губная помада и румяна на ее лице привели бы ее в шок. Но мы знали, какой она становилась по ночам, слушали ее захватывающие, сумасбродные рассказы, и, конечно, были уверены, что

никакой иной женщине не принесло бы столько радости, если бы в самую длинную из своих ночей она стала похожа — хоть и совсем слегка — на Иезавель.

22

Приближение ночи служило сигналом для всеобщего оживления, когда гомона и криков становилось больше, чем во время прогулки в парке или во дворе. Успокоительных никому не давали, и с того момента, как в четыре часа дня обитательниц «грязного» зала отводили спать в Кирпичный Дом, тот взрывался буйством и шумом. На фоне остальных голосов можно было безошибочно расслышать педантичный протест Бренды.

Ее я знала еще со времен четвертого отделения. Помню, она была одна из первых, кому сделали «новую» операцию — от которой люди меняются просто на глазах, и как было много разговоров о ее обучении, которое помогло бы ей адаптироваться к так называемому укладу жизни в обычном мире: Павлова водила ее и еще трех или четырех пациенток после лоботомии на особые прогулки в сад, называла имена цветов, облаков и случайных людей, пытаясь заинтересовать своих подопечных обычной жизнью, предполагая (потому что с чего-то же надо начинать, даже после лоботомии), что обычная жизнь может

быть кому-то интереса. Бренда, как я тогда выяснила, была талантливой девушкой, пианисткой, которой в скором времени предстояло обучение за границей. И вот, пять лет спустя, она оказалась во втором отделении, где ей сделали еще одну операцию в отчаянной попытке исправить разрушительные последствия первой, проявившиеся слишком скоро и слишком явно. Она меня узнала. Я крепилась, чтобы не заплакать от того, в каком она была состоянии.

Когда она шла, она двигала руками, как будто создавая замысловатые скульптуры из неподатливого воздуха, делала маленькие шажочки и временами помогала себе не потерять равновесие, держась за стену. Если ей нужно было перейти из одной части комнаты в другую, она паниковала и прижималась к вертикальной поверхности, пока кто-то не толкал ее за шкирку. Иногда, внезапно оставшись одна в центре комнаты, она чуть не теряла равновесие, а потом радостно, но нервно смеялась и приговаривала, задыхаясь: «Ой, божечки», потом набрасывалась на своего брата, который следовал за ней по пятам и к которому она официально обращалась «мистер Фредерик Барнс». «Подите прочь, мистер Фредерик Барнс», — ругалась она.

Меня она называла «мисс Истина Мавет». Тяжело вздыхая, она говорила: «Я так вам завидую, мисс Истина Мавет!» Затем она просовывала руку в брючину, добиралась до самого верха своих полосатых штанов и после небольшой манипуляции вытаскивала комок фекалий. «Смотрите, мисс Истина Мавет! — восклицала она. — Вы только посмотрите! Не правда ли, я отвратительна? Я виню в этом мистера Фредерика Барнса». Голос ее становился утробным, страшным, а лицо багровело от прилива крови. И она начинала кричать. Судороги у нее появились после первой операции; мы часто видели, как она падала и билась в припадке.

Хотя обычно Бренду на день запирали в «грязном» зале, в качестве особой привилегии старшая медсестра Бридж разрешала ей приходить в «чистый» и играть на пианино. Она заходила украдкой, держась рукой за стену, подходила к инструменту, подняв крышку табурета нужное количество раз в такт своему тайному ритму, садилась, поводя от удовольствия плечами, и начинала укоризненно хихикать, смущаясь и глядя на пианино, как будто оно начало отвешивать ей комплименты. Оно сияло эбеновым лаком; в отражении хорошо было видно лицо, даже едва

заметные темные усики. Бренда продолжала хихикать, сжимая и разжимая ладони и принимая радостные позы, как будто пианино сообщало ей хорошие новости; как вдруг, в мгновение ока, она вспоминала о мистере Фредерике Барнсе.

«Убирайтесь прочь, мистер Фредерик Барнс, — злилась она, резко опуская руки на колени, как будто ее застали за чем-то непристойным. — Прочь, мистер Фредерик Барнс!»

И, поворачиваясь к остальным, которые теперь ждали заинтересованно, когда же она начнет играть (потому что нам нравились ее выступления), она начинала оправдываться. «Это всё мистер Фредерик Барнс. Ненавижу его. Ненавижу. Ха, ха, мистер Фредерик Барнс. А я, конечно же, мисс Бренда Барнс из Психиатрической больницы Клифхейвена».

Затем она мечтательно улыбалась, всхихикивала еще раз и начинала, осторожно, плавно играть произведение, которое другие пациентки называли «классическим».

Тут Кэрол прерывала ее. «Ну это же классическое. Сыграй “Лунную сонату”».

Кэрол, пациентка с карликовостью, и Большая Бетти, ростом более шести футов, были самопровозглашенными командирами «чистого» общего

зала.

Поэтому Бренда прислушивалась к требованиям бледнокожей, веснушчатой Кэрол. «Я ж незаконная, — рассказывала она о своем происхождении. — Мама родила меня до свадьбы и не хотела, чтоб я выросла».

«“Бабочку” Грига, Бренда. Или нет, сыграй “А я всё бегаю за радугами”».

(Песня «А я всё бегаю за радугами», написанная на мелодию Шопена, стала популярной после фильма «Песня на века», в котором Шопен в исполнении Корнела Уайлда в паузах между томными переглядываниями с мадемуазель Дюпен пробегал пальцами по клавишам фортепиано и играл короткие запоминающиеся версии композиций, сочиненных в реальности.)

Сначала Бренда играла с любовью, вспоминая каждую ноту, хотя ее чувство ритма, кажется, пострадало. Она играла и играла, через некоторое время перестав обращать внимание на просьбы Кэрол «не играть классическое». Слушая ее, я испытывала неуютное чувство глубинной тревоги — как будто у меня была жизненно важная обязанность, на которую я предпочитала не обращать внимания. Словно ночью у берега реки, когда тебе кажется, что увидел в воде бледное

лицо или чью-то руку, но вместо того, чтобы прийти на помощь или найти кого-то, кто мог бы помочь, быстро отворачиваешься. Каждому из нас случалось видеть такие лица в воде. Мы подавляем свои воспоминания о них, даже нашу веру в то, что они были реальны, — и дальше живем спокойной жизнью; но бывает, что не можем ни забыть их, ни помочь им. Иногда по прихоти обстоятельств, или повинуясь причудам сна, или под влиянием игры света в воде мы видим собственное лицо.

Бренда вдруг останавливалась на середине произведения, ясно осознав непоправимость ситуации, в которой она оказалась, и начинала бушевать, кричать, яростно и грубо колотить по клавишам, прогоняя музыку, которая отступала, как животное, которое раньше времени пробудилось от спячки под действием тепла и света ложной весны, и, снова покинутое солнцем, страшась запустения зимы, вынуждено было искать укрытия.

Зал охватывало общее беспокойство. Одна или две пациентки подходили к пианино, тренькали по клавишам верхних октав или бахали по басам и кричали, чтобы Бренда шла к черту.

Кэрол снова брала ситуацию в свои руки. «До-

статочно нам на сегодня Бренды. Все равно мы хотим, чтобы включили радио. А лучше пусть Минни Клив что-нибудь сыграет».

Опальную Бренду отводили восвояси, и можно было слышать, как старшая медсестра Бридж ее отчитывала: «Чтобы это было в последний раз, Бренда. Вечно ты не можешь сдержаться и все портишь своими криками».

Раздосадованные и обеспокоенные, сидели мы в своем «чистом» зале. Взрыв ярости в исполнении Бренды вызывал чувство, будто мы стали свидетелями землетрясения такой силы, что оно могло бы в два мгновения обнажить и снова погрести под завалами затерянное королевство.

Но Кэрол уже кричала свое: «Минни Клив, сыграй что-нибудь», и Минни поднимала глаза от носового платка, который изучала, словно план, днями напролет. «Нет-нет», — дребезжала она, в то же время понимая, что хотела бы поиграть на инструменте, и тогда ее маленькая сгорбленная фигурка с сумкой в руке подкрадывалась к пианино. Минни, бывшая мать-настоятельница, монотонно долбила по клавишам, снова и снова, пока ее не заставляли прекратить.

Кэмпбеллы с нами, ура, ура!

Кэмпбеллы с нами, ура, ура!

23

С того дня, как я напугала сестру Бридж, в ее отношении ко мне появилась враждебность, граничившая со страхом. Иногда казалось, что у нас на двоих была одна страшная тайна; порой у меня в голове возникала удивительная фантазия, будто мы кружили в небе двумя ястребами, столь же далекие друг от друга, как ветры, дующие в противоположные стороны, и оба этих ястреба в определенный момент слетелись на один и тот же труп и, начав его терзать, понимали, что он сочленен из разлагающихся частей наших тел. Если бы я рассказала об этом сестре Бридж, она бы усмехнулась: она отпугивала любые выдумки облаком из пренебрежения, чтобы успеть спрятаться от них, избежать таившейся в них угрозы и таким образом попытаться контролировать их зловещие передвижения. Подобно осьминогу, который в случае опасности выпускает клубы чернил, она защищалась с помощью презрения.

Я пыталась понять причины ее отношения ко мне. Когда меня охватывала паника, и я выбегала из-за обеденного стола, она приказывала медсестре притащить меня обратно за волосы

и обвиняла меня в том, что я «создаю суматоху, чтобы привлечь к себе внимание».

«Тут нет ничего, чего можно было бы бояться. Начните уже думать и об остальных, мисс Всезнайка».

А разве я не думала? Разве мысль о трагедии окружающих меня людей, в особенности Бренды и ее ухудшающегося здоровья, не заставляла меня шептать, лежа ночью в темноте в маленькой комнате, банальное утешительное «Боже, спаси, Боже, помоги», которое годится и в случае катастрофы, и при кораблекрушении, и во время бомбежки, наводнения, ядерной зимы? И я помню, как повторяла молитву-заговор, которую отчего-то не могла не читать каждую ночь с тех пор, как выучила ее в школе, за что получила медальон из латуни размером в полпенни с напечатанной на нем молитвой. Его скорее можно было считать шедевром литья, нежели религиозным атрибутом, и я восхищалась им, как восхищаются кораблями в бутылках или энциклопедией «Британника», перенесенной на магнитную ленту. Тем не менее я чувствовала, что должна повторять молитву, завершая ее словами благословения для всех членов своей семьи и выражением надежды для себя — что я буду

«хорошей девочкой». Раньше мне хотелось и для себя припасти благословение, но я чувствовала, что это недопустимо, и было куда серьезнее, чем, раздавая сладости, фарисейски придерживать свою руку, чтобы взять только то, что осталось, несмотря на желание сразу схватить то, что понравилось. Поэтому я довольствовалась просьбой помочь мне быть «хорошей девочкой». А теперь, когда старшая медсестра Бридж и главная медсестра Гласс говорили, что мне надо бы «для разнообразия подумать о других», что они имели в виду? Мне вдруг пришла в голову пугающая мысль — что они знали меня всю мою жизнь и тайно следили за мной, даже когда я была ребенком.

Должно быть, они видели, как я украла деньги, и ущипнула младенца за руку, и стащила у врача книгу, которая лежала наверху шкафа. И неужели они слышали мои молитвы и заметили, что я молилась только о своей семье и о себе самой и не подумала о благословении для людей, что были по соседству, которые всегда давали нам вечернюю газету прежде, чем читали ее сами, или детей из более бедных семей, живших на пособие по безработице, или мальчика с ногой в гипсе, или маленькой девочки, от которой воняло

и которую никогда не звали в игру, где Бедняжка Салли сидит и плачет о потерявшемся друге и ей предлагают выбрать одну из прыгающих рядом девчонок, аккуратных, одетых в свежую одежду?

После завтрака (тарелка овсяной каши, хлеб с маслом или тост и чай), который подавался всем сразу, медсестра громко объявляла: «В уборную, дамы», и все выстраивались в очередь, чтобы под надзором медсестры посидеть в кабинке без дверей. Первое время после того, как меня перевели в это отделение, я отказывалась идти в туалет, если за мной наблюдали, но по команде старшей медсестры Бридж другая медсестра стянула с меня штаны и усадила на унитаз. «От такого пациента, как она, нужно требовать соблюдения дисциплины», — обычно повторяла при этом старшая медсестра. После завершения туалетного ритуала объявляли: «В грязный зал», или «Во двор», или «В парк», и распределенных пациенток конвоировали до места назначения, а остальные ждали приказа «В Кирпичный Дом, дамы», куда мы шли толпой, чтобы навести порядок после предыдущей ночи: сменить постельное белье и заправить кровати, вымыть и натереть мастикой пол и отполировать латунные ручки, которые были прикручены только с наружной

стороны, если это была дверь от одиночки.

На мне лежала обязанность убираться в «заднем» коридоре и находившихся в нем одиночных палатах. Нужно было вынести грязные матрасы, вытряхнуть из них содержимое, старый чехол положить в корзину для белья, а чистый чехол наполнить свежей соломой из специального сарая. Мокрые наматрасники нужно было оставить сушиться в этом же сарае рядом с трубами. Иногда я убегала и пряталась в его тепле, наполненном душным кисловатым запахом испаряющейся мочи, человеческих фекалий и сена, и наталкивалась там на какую-нибудь медсестру, которая всего лишь хотела «тихо покурить»; несмотря на приказ старшей медсестры Бридж, запрещавший кому бы то ни было из персонала говорить со мной, она все же заводила беседу.

«Почему она так сильно тебя ненавидит? — спрашивали меня. — Чего она боится? Что ты такого натворила?»

Закончив дела, мы возвращались в общий зал, где порой выполняли задачи в рамках трудотерапии и вели сумасшедшие разговоры с перерывами на перебранки и бесплодные размышления. Мы радовались, когда подходило время обеда и первую группу тех, кого будут

кормить, — гулявших в парке пациенток — торопливо переводили через дорогу и заводили в столовую. Только один или два раза за все три года моего пребывания в этом отделении меня помещали в «грязный» зал, и я была среди первых в очереди на обед. В отношении еды в отделении царил почти флотский снобизм, за исключением того, что вопросов не вызывало, кто же должен или не должен сидеть за капитанским столом.

24

Единственной выжившей в пожаре, случившемся в старом отделении, была Большая Бетти; поговаривали, что она сама его и начала, возможно даже, намеренно — окурком. Обвинения отскакивали от ее куда-то далеко убранной совести, подобно сигналу радара, отраженному от поверхности Луны. Большая Бетти была величественной и бескомпромиссной. Она была выше шести футов ростом, повсюду носила с собой две сумки со своими богатствами, среди которых можно было найти старые журналы и две или три пары изношенных домашних туфель. Она отказалась работать в Кирпичном Доме, и ее отказ был принят. Она предпочитала оставаться в «чистом» общем зале, где лежала на своем диване, подражая мадам Рекамье, при этом ее большие ступни, напоминавшие ласты аквалангиста, торчали в воздухе. Ее голос, не желая уступать в величии росту, больше походил на рык.

«Истина!» — могла она внезапно вострубить, так что я подпрыгивала от испуга.

«Такая молоденькая, как ты, молодая же еще… Я могу понять, когда такие, как я, но такие, как

ты… — на мгновение она впадала в задумчивость, потирая свой большой багровый нос. Снова рычала: — Что ты тут забыла?» Как будто бы обвиненная в тяжком преступлении, я пыталась найти оправдание и предложить его прокурору Большой Бетти; тем временем, позабыв о собственном вопросе, она рокотала: «Истина, иди и помоги вон той горемыке!»

И я шла и помогала «горемыке» — это была Минни Клив, которая постоянно теряла свой носовой платок среди вещей, которые держала в маленькой матерчатой сумке, и, если не могла найти его, паниковала, скулила, стонала, выворачивала содержимое сумки на пол, а затем вставала на колени и начинала молиться. В этот носовой платок она перенесла смысл своей жизни; точно ребенок, который провел на пляже полный событиями день, теперь бережно несла она домой свои сокровища: несколько ракушек, ярких камней, воспоминания пережитого дня, заботливо укутав их в тряпицу.

Что бы Минни ни прятала в своем платке, оно не было для нее утешением. Почти все время она была в депрессии. Иногда ей делали ЭШТ, она возвращалась бледная и потерянная, требовала назад свою сумку и зубы, не будучи в состоянии

вспомнить, где их спрятала. Большая Бетти помнила. Большая Бетти знала. Большая Бетти все видела. Она взирала на Минни с презрительным состраданием непобедимого героя, которое тот дарует поверженному.

Я боялась Большой Бетти.

«Истина, — гремела она, — когда ты отсюда выберешься? Отвечай!»

Я бормотала что-то испуганным голосом, и тогда Эдит, невестка миссис Эверетт, хрупкая и робкая, всегда говорившая о себе в третьем лице, подходила ко мне, брала меня за руку и, пытаясь принять грозный вид, который в ее исполнении выходил комичным, обращалась к Большой Бетти тоненьким голоском: «Не смей ее пугать. Тише, тише, Эдит позаботится о тебе, Истина. Ну-ну, не бойся. Ты же знаешь Эдит, сестру мужа миссис Эверетт, которая утопила свою маленькую дочку, ох уж и впрямь она утопила свою маленькую дочурку».

«Ой, да замолчи ты, Эдит Эверетт, — вдруг вмешивалась Кэрол. — Давайте слушать радио, хочу “Провожая мою милую домой”!»

Контроль над радио принадлежал Кэрол. Она жила в больнице с двенадцати лет, сейчас это была взрослая девушка двадцати одного года, с

телом десятилетнего ребенка и бледным повзрослевшим лицом с темными кругами под глазами. Она непрестанно разговаривала о том, чтобы «выбраться из этой дыры» и выйти замуж, и обменивалась через окно любовными записками со светловолосым посвиненком. Она усерднее остальных убиралась в Кирпичном Доме и, как маленькая собачка, бегала за старшей медсестрой Бридж по пятам, предлагая свою помощь и услуги посыльного, вызываясь носить записки и посылки, а особенно пустые магазинные корзины.

В рамках социального обеспечения на карманные расходы пациентам выдавали по четыре шиллинга в неделю. Для тех, чье состояние не позволяло самостоятельно тратить деньги, пироги и сладости покупала старшая медсестра Бридж, которая также контролировала, чтобы всем честно доставалась их доля, никаких унизительных конфетных потасовок, как в Батистовом Доме, не существовало. Все, кто был в состоянии самостоятельно совершать путешествия к магазинчику, ждали пятницы с нарастающим воодушевлением. Четыре шиллинга! Что же купить? Посетители приходили не ко многим и нечасто, ко мне же и совсем редко, поэтому часть моих денег я тратила на еду. Мы могли купить

зубную пасту, мыло, если надоело больничное, конфеты, печенье и косметику, губную помаду и пудру, безделушки вроде бумажных цветов, которые распускаются в воде, украшения на шею, колечки…

В пятницу, в два часа дня, старшая медсестра Бридж появлялась в дверях общего зала с пустой корзиной для белья, и Кэрол мчалась ей на помощь.

«Ну что же! — восклицала радостно старшая медсестра. — В магазин, дамы!»

И вот мы брели мимо сторожевого поста, и прачечной, и большой кухни, и сапожной мастерской, где пожилой пациент с длинными каштановыми волосами, спадающими по плечам, чинил больничную обувь, и столярной мастерской с ее жужжащими машинами и полом, усыпанным стружкой, и приходили в магазин. Блеск и очарование сложенных друг на друга товаров вызывали у нас благоговейный трепет, и нас можно было понять, ведь многие пациенты не были в настоящем магазине уже двадцать, тридцать или более лет, и магазинчик при больнице, с ее тщательно упакованными и укутанными артикулами всех форм, размеров, степеней яркости и глянцевитости, был теперь

единственным местом на всю оставшуюся жизнь, которое несло в себе дух живой коммерции.

Иногда владелец магазинчика (которому помогал пациент с непрактичной, но замечательной привычкой отвешивать больше сладостей, чем было заплачено), похоже, в порыве ностальгии по настоящим универмагам Большого Мира организовывал специальную витрину перед прилавком, где выставлял дешевые шариковые ручки, блестящие браслеты или кулоны, бейджи для коктейльных вечеринок, мужские галстуки на прищепке, которые можно надевать с парадным костюмом, и старшая медсестра Бридж, купив все необходимое для отделения, стояла сзади и наблюдала за подопечными, чтобы в случае надобности утихомирить пыл пациента, которому было трудно устоять перед соблазнительной, но совершенно бесполезной покупкой.

«Не забывайте, что так у вас не останется денег на другие вещи».

Изобилие прилавков заставляло сердце биться чаще, а голову идти кругом, и все мои закупочные планы забывались, и, когда старшая медсестра торопила меня, я продолжала медлить, говоря: «Я хотела бы еще немного подумать», на что получала ответ: «Ну конечно, у нас же целый день на

это есть. Вот что я вам скажу, барышня, я к чаю опаздывать не собираюсь».

Однажды Кэрол, которая больше обыкновенного говорила о замужестве, купила сверкающее кольцо с камнем — «настоящим брульянтом», которое она осторожно надела на «обручальный» палец.

«Ну вот, всё, — объявила она. — Почти замужненная».

Никто не возражал. Пробыв в больнице достаточно долго, как правило, теряешь острую потребность, считающуюся само собой разумеющейся во внешнем мире, выражать недоверие; бессмысленным, даже грубым, будет любой протест «Это неправда», когда ты уже осознал, что истина — что-то, что и так непоколебимо лежит в основе основы основ, и ей не требуется защита.

Кольцо Кэрол стоило три шиллинга и шесть пенсов, а на оставшиеся шесть пенсов она купила конфетки в форме сердечек пастельных оттенков, разных вкусов, с короткими нежными фразочками, которые Кэрол попросила Хилари прочитать вслух, потому что сама Кэрол так и не научилась ни читать, ни писать, и помощь ей была нужна даже с любовными письмами посвиненку. Сердечки щебетали: «Я тебя люблю»,

«Полюби меня», «Любимая» или «Любимый», «Без ума», «Всё отлично» и «Давай поженимся», причем мелкие буквы на последнем из них были тесно составлены, чтобы поместиться на ограниченной поверхности. Утихомирить Кэрол в тот день было невозможно: у нее было целых три повода для радости, и если бы она умела писать стихи, она могла бы воспеть их как-то так:

Кукушку с радугой вовек
Могу не повстречать я боле,
Покуда вечный хлад
Мне не закроет век[12].

Во-первых, «ручательное» кольцо с «настоящим брульянтом», что означает, что она «почти что замуженная»; во-вторых, целый мешок конфеток-болтушек, которые можно передавать через окно своему посвиненку, и даже, возможно, приберечь для какого-нибудь «красавчика», чтобы отдать ему на танцах в большом зале. И, наконец, любимая песня Кэрол, которую транслировали по радио и которой она рвано подпевала своим немелодичным голосом, вспоминая слова то тут, то там:

---

[12] Примечания: 12
У. Г. Дейвис «Прекрасное время».

Волшебным вечером однажды повстречаешь незнакомца…[13]

В магазинчике я купила конфет, которые не хотела есть одна и поэтому раздавала другим пациенткам. Большая Бетти сделала мне выговор: «Истина, ешь их сама».

Конфеты, блокнот и новая ручка — я была полна решимости написать письмо.

В отделение номер два

Психиатрической больницы Клифхейвена.

Так я начала; а затем, осознав бесполезность послания чего бы то ни было кому бы то ни было в отсутствие адресата сообщения, я закрыла блокнот и убрала его в сумку из искусственной кожи, где хранила свои сокровища: томик Шекспира, который в забвении с каждым днем ветшал все больше, и «Сонеты к Орфею» на немецком и английском языках.

«Wolle die Wandlung, — прочитала я. — Возжелай превращенья».

Не только Рильке давал такой совет. Для врачей проводили консультации, и старшая медсестра

[13] Примечания: 13

О. Хаммерстайна II «Волшебным вечером однажды».

Бридж намекала мне, что такая, как сейчас, я не могла дальше продолжать жить, что нужно было меняться.

> *То, что предпочло бы несуществованье,*
>
> *Безопасным ли считает сумеречный, серый свой приют?*[14]

Так могли бы мне прошептать, но для врачей был только один выход — бритая голова и глаза, огромные, темные, всматривающиеся во мрак.

«Возжелай превращенья! Пламенея, беспечалье познай!», — но беда в том, что слишком часто этим пламенем был нож для колки льда.

---

[14] Примечания: 14
М. Рильке. «Сонеты к Орфею». Пер. Н. Сидемон-Эристави.

25

Каждый месяц к нам в больницу из института, что находился в городе, приезжала группа женщин, которых мы называли «тетеньками». Как правило, они были средних лет, в фетровых шляпах, в крепких туфлях на толстом каблуке, с большими сумками одинакового коричневого цвета, которые закрывались на замок с завитками из тусклой латуни, и, чтобы открыть, требовалось с усилием его повернуть, как будто поворачивая кран с водой. От тетенек пахло как от школьных учительниц на пенсии, смесью утраты и любви, схемами со стрелочками и мелким шрифтом со звездочкой, указывающим на текст внизу страницы, который был стерт. Во время осмотра общих залов они держались скромно, стайкой и, прежде чем обратиться к пациентке, смущенно, украдкой оглядывались. Они не знали, что и как говорить, обращаясь к нам; кто-то когда-то им сказал, что нужно все время улыбаться, вот они и улыбались застывшей улыбкой.

Мы чувствовали свою власть над ними, и некоторые из нас относились к ним с придирчивым презрением, потому что они, похоже, не

могли решить, глухие мы, немые, умственно неполноценные или все вместе, поэтому, когда обращались к нам, повышали голоса, утрированно шевелили губами, выбирали самые простые слова, чтобы мы уж наверняка поняли. Иногда они помогали себе жестами, как будто мы были иностранцами, а они собирались посетить нашу страну и им очень нужно было научиться разговаривать на нашем языке. Им так хотелось чувствовать себя с нами непринужденно, получать радушный прием, сидеть и по-дружески болтать с нами. Их желание, чтобы их окружали улыбающиеся лица и радостные возгласы приветствия, вызывало презрение. Представить, как эти тетеньки цепляются за свои сумки, сидят целыми днями в больничной швейной мастерской или бродят по двору, не представляло особого труда; иногда казалось, что они потому и приезжали в больницу, что чувствовали сродство с нами.

«Здравствуйте! — восклицали они с душевностью, которая не могла скрыть их страх. — Хотите конфетку?» Доставали мешок конфет, доверчиво предлагали все сразу и, потрясенные, досадливо цокая, натужно улыбались, когда у них из рук выхватывали все подношение.

Благодарного собеседника они получали лишь

в лице Кэрол. Все остальные, хотя и набрасывались на предложенные сладости, вели себя подозрительно и враждебно, особенно потому, что тетеньки слишком часто говорили невпопад, задавали слишком много вопросов, на которые не могло быть ответа, и пытались подбодрить людей, которые провели в больнице двадцать или тридцать лет, словами «Ну ничего, скоро уже домой, так ведь?». Кэрол говорила с ними, не сдерживаясь, без подозрительности, рассказывала о том, что делалось в отделении, делилась своими мечтами, что скоро она выйдет замуж и «выберется к чертям из этой дыры». Она показывала на «ручательное» кольцо.

«Брульянт, — добавляла с гордостью. — Если у тебя есть ручательное колечко, на тебе непременно обженятся».

Тетеньки реагировали на Кэрол, как мог бы реагировать зоолог на обнаруженный им впервые вид, который соответствует всем сделанным ранее предположениям. Кэрол была образцовым «психиатрическим пациентом». Вот уже несколько лет одни и те же тетеньки совершали утомительное путешествие на медленном закоптелом поезде на север в Клифхейвен и уносили с собой обратно досадные воспоминания о том,

как пытались развеселить тех, кто не нуждался в веселье, и подбодрить тех, кого приободрить было невозможно. С волнением и какой-то нарочитостью тетеньки разговаривали с Кэрол, веселили и подбадривали ее.

«Да, мне хотелось бы прийти к вам на свадьбу». «Какое милое кольцо, Кэрол». «Конечно, вы выпишетесь отсюда задолго до свадьбы». Затем, с раскрасневшимися щеками, сияющими от ощущения успеха (и от напряжения) глазами, они быстро направлялись к дверям, благодарно прощаясь с Кэрол и обещая всем нам снова приехать в следующем месяце и привезти еще сладостей, если мы будем вести себя хорошо и послушно. На их лицах едва заметно проглядывала паника, пока они ждали медсестру, которая должна была их выпустить, потому что мало приятного в том, что ты заперт где-то и у тебя нет ключа, да еще и в психиатрической больнице, где с посетителями порой случаются странные вещи, загадочные вещи, о которых никогда не напишут в газетах.

* * *

Другим нашим гостем, который так же приезжал каждый месяц, но гораздо лучше понимал ситуацию, был человек из Общества оказания

помощи пациентам и заключенным, которого мы прозвали Счетоводом Одна Конфета, потому что, зная, какими мы можем быть резвыми и жадными, он никогда не предлагал все угощения сразу, а осторожно вынимал по одному леденцу, держа его за бумажный хвостик, как будто рыбку, и спрашивал вкрадчиво, «доверительным» тоном, так что можно было подумать, что он собирается говорить о сексе: «Конфету хочешь?»

Мы смеялись над его бережливостью и хитростью, но всегда принимали угощение. Это был высокий, худощавый, усталого вида мужчина с потертым портфелем; он выглядел как работник, проверяющий показатели счетчиков, или налоговый инспектор, или вежливый коллектор, и мы понятия не имели, что было у него в портфеле, потому что пакетики с леденцами он носил в карманах своего костюма. Он не демонстрировал ни капли напускной сердечности тетенек, не задавал вопросов и не пытался завести разговор. Если не считать тех моментов, когда он предлагал кому-то из нас конфету, казалось, он не замечал нашего присутствия и опустошал пакетики с леденцами, повинуясь требованиям какого-то сиротливого ритуала, в котором главное место отводилось ему самому и конфетам, а

мы, пациентки, оказались рядом по случайному стечению обстоятельств. В его действиях была какая-то скрытность: он был похож на тех людей, которые под покровом темноты проезжают сотни миль, чтобы в безлюдной глуши выгрузить свой секретный мусор. Он выглядел серьезным и погруженным в свои мысли.

И никогда (к нашему сожалению) не изменял своему правилу выдавать конфеты по одной. Поговаривали, что за сладости для больницы он платил из собственных денег. Еще он ездил по тюрьмам. Еще в то время, когда я была в больнице, он уволился из Общества и уехал жить на север, на восточное побережье, где растут пальмы, и забрал с собой подаренный ему обеденный сервиз из сорока девяти предметов в наборе. Интересно, и портфель тоже? А пакетик конфет, чтобы лакомиться в поезде?

Продолжая традицию аккуратной выдачи конфет, новый секретарь приезжал уже не каждый месяц, а только на Рождество. Его гостинцы были больше, дороже, богаче, но он не был человеком, внутри которого жила мечта.

26

Здание второго отделения, стоявшее на сваях из дерева и камня, словно лодочный сарай, до которого в прилив не должна доставать вода, возвышалось над землей на несколько футов, и я постоянно ощущала под ногами волнообразное движение пола, которое делало его больше похожим на лодку, сорвавшуюся с якоря и дрейфующую в открытом море. В тот день, когда я окончательно поверила в то, что мне говорили последние несколько лет — что я проведу в больнице всю оставшуюся жизнь, пол нашего зала как будто бы превратился в движущиеся слои зазубренного сланца, врезавшегося мне в ноги, и от этого не спасали даже толстые серые носки, которые вскоре пропитала кровь, стекавшая на темные зубья, стремительно убегавшая через дверь, уносившая с собой вырезанные серебряные и золотые звездочки — награду за примерное поведение. Ступать по лезвиям сланца было трудно; заглянув между слоями, я убедилась, что здание по-прежнему надежно стоит на своих столбах из дерева и камня, испещренных моллюсками и обвитых прядями упругих рыжих

водорослей; море билось и плескалось, через щели в породе внутрь проникал резкий запах соли.

Никто ничего не замечал. Я была в смятении, но никто ничего не замечал. Акулы же могут учуять кровь, подумала я. И скоро сюда придут спасатели под золотым знаменем и защитят меня. Ведь придут же?

Неугомонные скворцы пляшут теперь над Кроличьим островом; за стеклом витрины кулон с фонариком по цене, которую я не могу себе позволить.

А я лишь хотела уединения, быть подальше от шумных кричащих людей и печального зрелища, какое они собой представляли, их истончающихся и наконец полностью исчезнувших личностей. Ведь те, что томились в «грязном» зале, были не более чем прозвищами. Как и обитатели Батистового Дома. Была Тилли, которая жила и передвигалась в неизменно скрюченном положении, не произносила ни слова и ела взахлеб, в ее глазах мерцал потаенный огонь, а нос стремился к подбородку, делая ее похожей на ведьму. Куда делась прежняя Тилли, жена и мать троих детей? Как вообще случается так, что люди пропадают без следа, все же оставаясь в плотской оболочке? И удивился бы любой, если бы ему сказали, что

Лорна была когда-то воспитанной, образованной женщиной. Что за обломки болезни упали с неба и скрыли под собой привычные просторы человеческой личности, погрузив их в вечную зиму? Что же это за безжалостный снегопад, сугробы после которого никогда не растают и не дадут ни идеям прорасти, ни раскрыться чувствам, взращиваемым из семян человеческого общения? И куда подевались все снегоуборщики, которые должны прочищать путь к заснеженным просторам?

Старое доброе никем не плененное солнце, любимая грелка из красной фланели для продрогшей земли и бутонов на холодном ложе, я знаю, что каждый хочет завладеть частицей твоего внимания, но приди и к нам сквозь снег, камни и вечную тень.

Иногда с удивлением можно было заметить осмысленный взгляд на лице Тилли, Лорны или кого-нибудь еще, но не дать ему снова исчезнуть было невозможно; должно быть, подобные чувства испытывает рыболов, догадавшийся по кругам на воде о присутствии радужной рыбки, которая непременно погибнет, если останется жить в этих нечистотах. Как изловить ее, не поранив? Но круги, расходящиеся от той сущности, что делает человека человеком, могут прини-

мать формы протеста, депрессии, возбуждения, агрессии — проще оглушить красивую рыбку дозой электричества, чем подарить ей бережное обращение и переселить в воды, где она будет благоденствовать. И можно много часов и лет выуживать человеческую идентичность, сидя в своей безопасной лодке посреди затхлой лужи и стараясь не паниковать, когда долгожданная рябь чуть не опрокидывает лодку.

Я сбежала.

Солнце светило, просачиваясь теплом сквозь высокое облако, которое набухало и расползалось слой за слоем, как вата на синих противнях в духовке, а я лежала в парке на траве, глядя в небо, заткнув уши, чтобы заглушить шум и гам, и отворачивая глаза, чтобы не видеть износившихся и озверевших людей. Парк был просторный. Пациентки ходили или бегали по территории, огороженной высоким забором, там, где они протоптали дорожку больничного «стадиона»; или, как я сейчас, совершенно неподвижно лежали на сожженной траве. С вершины склона, где раскинулся парк, можно было видеть море, обдуваемое свежим и чистым воздухом. Кажется, была весна.

Мне так важно, чтобы было солнце; мне вспоми-

наются подсолнухи с их черными сердцевинами, опаляющей зубчатой короной и повадкой поворачиваться за светилом. Мне кажется, что с ума нас свело именно то, что у нас отняли солнце, которое когда-то выскребало тень нереальности из нашего мозга. Поэтому я готовлю поле и засеиваю его подсолнухами, и их тени мягко скользят по снегу, и я подбираю осколки потухших камней, которые когда-то были мыслями, полыхающими в атмосфере, стремящимися к поверхности земли метеорным дождем.

Я лежала в парке, водила рукой по коротким стеблям ржи и пырея и смотрела, как жуки кружат на границе сгоревшего леса; как живут своей жизнью ничего не подозревающие божьи коровки, которым поведают о пожаре в их доме и их детях в полном одиночестве; как влажные слепые синевато-розовые черви выползают из глубин почвы. В углу рядом со мной блаженно раскачивалась Тотти, зажав руку между бедрами; вдруг она начала кричать во весь голос: «Прекрати, Тотти, Тотти, Тотти», из нее вырвался душераздирающий стон, и она отдернула руку, всю в менструальной крови: ее нельзя было заставить пользоваться гигиеническими прокладками или носить брюки или туфли; иногда она срывала с

себя всю одежду. Тотти было пятнадцать.

Не было ни одного места вокруг, где я могла бы спрятаться от несчастья. Иногда в своем воображении я одевала их в обычную одежду, стирала с их кожи ужасную печать больничной жизни, возвращала зубы в их рты, наносила макияж, вручала сумочки и перчатки, а потом наивно думала, что превратила их в обычных людей, тех самых, с которыми мы сталкивались и разговаривали на улице, не чувствуя ничего, кроме мимолетного отчаяния, вызываемого любой попыткой стать участником человеческой коммуникации. Но я не могла посметь изменить их мысли и чувства, которые знать могли только они сами. Что было у них на уме? Хоть я и фантазировала о том, чтобы очистить запачканную кожу и вставить зубы в беззубые десны, я понимала, что те мысли и чувства — «обычные», «нормальные», которыми я могла бы заменить их тайные мысли и чувства, имели бы меньшую ценность для истины, чем уединенные замкнутые миры, которые они для себя создали. Они были планетами, мчавшимися по собственным орбитам, и по их поведению невозможно было понять, когда наступает их личный день или ночь и как ведут себя их тайные приливы, описать их космические столкнове-

ния-бури-наводнения-засухи и положение силы.

Облака теперь неслись высоко в небе, гонимые теплым весенним ветром. Я сняла кофту и подкралась к той части ограды, которую скрывал навес для скота — полуразвалившаяся конструкция с кучками цвета хаки по углам, куда люди прибегали справить нужду, как собаки; затем я вскарабкалась на забор с таким бешено колотящимся сердцем, что не могла дышать, быстро перелезла и свалилась в кусты, которые выращивали за пределами парка, чтобы прятать мусор: засохшие остатки еды, ботинки, экскременты, тряпки — и чтобы скрыть печальное зрелище, какое представляла собой жизнь внутри ограды, от любопытных взглядов прогуливающихся чужаков или обитателей отделения для выздоравливающих, у которых иногда возникало желание посмотреть на «больных в парке».

Уж я-то знаю. Я сама была из таких любопытствующих. Однажды я наблюдала за небритыми мужчинами в рваной робе, перемещавшимися крадучись по парку, и не могла потом забыть овладевшее ими чувство безысходности; оно казалось глубже, чем у женщин, потому что куда-то исчезла вся мужская мощь и гордость; некоторые из них плакали, а в нашей культуре, кажется,

мужчинам разрешено лить слезы только в случае самой страшной утраты.

Я вышла из кустов и медленно пошла по дороге мимо фермы, где жили санитары, все дальше и дальше: мимо большой кухни, морга, сторожевого поста и магазинчика при больнице. Я дрожала и готова была расплакаться. Наткнулась на Эрика, моего постоянного партнера по танцам, поприветствовала его: «Какой хороший день. Так здорово, что мне разрешили прогуляться».

Я надеялась, что он не обратит внимания на мои тапочки: он был из надежных пациентов, которые считали, что мы в больнице для «нашего же блага», и, если бы у него возникли подозрения, мог доложить обо мне.

Воздух был желтым от пыльцы с сережек и сладким от аромата боярышника, когда я покидала территорию больницы, через главные ворота, через решетку на земле, останавливающую скот, мимо дома доктора. Теперь я могла позволить себе дышать, я медленно прошла мимо местной школы с ее игровой площадкой, покрытой потрескавшимся и пузырящимся асфальтом, через который пробивалась ярко-зеленая трава, которую по пятницам выкорчевывали школьной мотыгой мальчишки из старших классов.

Маленький мальчик брел из главного здания к туалетам, останавливаясь, чтобы шаркнуть или потоптаться по чему-нибудь, чтобы исследовать давно знакомый путь, превращая свое уединенное путешествие, честно добытое древнейшим заклинанием «Можно выйти?», в наивысшей степени долгое и захватывающее. Оставшиеся в классе пели заунывные песни стандартной школьной программы «Придите, девы» и «Словно прибой, стенающий в горе у берега» — элегию, которая в весенний день могла вызывать приступ ностальгии по диким зарослям буша, берегу моря и первозданной тишине. Я шла все дальше и наконец добралась до железнодорожной станции. Куда же я могла отправиться? Я подошла к смотрителю: «Можно воспользоваться вашим телефоном?»

Он с любопытством посмотрел на меня. «Конечно».

Я позвонила во второе отделение и попросила позвать старшую медсестру Бридж. Изумленный возглас был мне ответом, когда я представилась: «Это Истина Мавет». Неужели я сбежала только для того, чтобы заявить о себе старшей медсестре, в надежде, что с расстояния, не видя меня и не имея соблазна клевать меня, как больную

курицу, она осознает, что не нужно преподавать мне этот нескончаемый «урок», составленный на пару с главной медсестрой Гласс, что меня не нужно «менять» с помощью операций на мозге, что при рождении ко мне не прилагался листок с гарантией, что «техническая служба обязуется заменить или обновить весь товар, не удовлетворяющий установленным требованиям»?

«Это Истина Мавет», — повторила я с вызовом.

А потом я испугалась, что они придут за мной, что, возможно, меня накажут, упрячут в одиночную палату.

«Где ты?»

«А вы не посадите меня в одиночку?»

«Я не собираюсь с тобой торговаться. Где ты сейчас?»

Я ответила. Связь резко оборвалась, и не успела я положить трубку, как к вокзалу подъехала черная казенная машина, в которой сидела старшая медсестра Бридж. Она вышла, сказав шоферу, чтобы он возвращался в больницу, что она пройдется со мной пешком, «и чтобы без шуток, барышня».

«Идем, горе луковое», — торопила она.

«Меня не запрут в одиночке?»

«Я не буду с тобой торговаться».

Я пошла вместе с ней. Ей было нехорошо от

жары и спешки, с которой она примчалась на станцию, ее щеки покрылись красными пятнами, а там, где застегивался воротничок униформы, появились круги пота. Чуть ниже, как тыквы в авоське, выпирали ее могучие груди. На зернистой коже на шее, как будто покрытой крупинками песка, появились красные полосы. Я чувствовала ее присутствие, чувствовала, как ей было некомфортно от жары. И я ненавидела ее, ненавидела. Мне хотелось отдубасить ее по этим выпирающим формам, как, помнится, повар колотил по жирным кускам мяса на кухне в Трикрофте, и я хотела, чтобы она заговорила наконец без сарказма и желчи, и застенчивости, и страха, которые звучали в ее голосе всякий раз, когда она обращалась ко мне.

Кто она такая? Была ли она моей матерью? Я хотела ударить ее; я хотела, рыдая, взобраться к ней на колени и умолять о прощении. Мы шли молча. Она решила заглянуть в деревенский магазин, и я последовала за ней в пыльное помещение, заставленное швабрами, ведрами, мылом и продуктами питания; человек за прилавком, узнав старшую медсестру Бридж и догадавшись, что я пациент, принял тот особый вид, какой люди принимают, когда сталкиваются с «душев-

нобольными», пытаясь скрыть за чрезмерной веселостью настороженность и испуг.

«Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте», — выдал он тройное приветствие, сияя улыбкой.

Сестра Бридж неторопливым, небрежным голосом, который я редко у нее слышала, попросила два мороженых, протянула мне одно, забрала сдачу и вывела меня из магазина.

Мы пошли дальше, облизывая лакомство.

«Не надейся, — предупредила она, — что тебя не накажут, раз я купила тебе мороженое».

«Меня не запрут?»

«Посмотрим».

Вдруг она махнула рукой в сторону домика, окруженного поросшим сорняками садом, стоящего спиной к железнодорожной просеке.

«А вот там я живу», — сказала она безразличным голосом.

«А это ваша машина?»

«Да, а это наша машина. Водить умеешь?»

«Нет, я так и не научилась».

«Надо научиться. Сначала я была в ужасе, прямо в ужасе… И не думай тут мне, что вас, барышня, не накажут».

«Но меня же не запрут?»

«Посмотрим. Что ты там такого увидела, что

так таращишься на дом?»

Его вид вызывал у меня чувство одиночества. Он напоминал мне самый первый дом, в котором я когда-то жила, где-то в глуши, в городке с одной улицей; воду мы носили из колонки, туалет стоял во дворе: там было полно черных жуков и мокриц, зато не было опасного водоворота на дне фарфорового ледника, который угрожал утащить за собой каждый раз, когда ты дергал за цепочку, нет, это была удобная кабинка, нечистоты из которой выгребал ассенизатор; и не было никаких ярких электрических ламп, ослепляющих из-под потолка, а была керосиновая лампа с грязным фитилем, отбрасывавшая мягкие голубые тени.

И я просидела всю свою жизнь под навесом с канистрами бензина, стоявшим под ореховым деревом у дома старшей медсестры Бридж, в компании коровы Красотки, дышавшей мне в лицо желто-зеленым ароматом пережеванной травы. Ее зубы были стерты, как видавшие виды квадратные белые табуретки; по золотистой морде из уголка ее глаза, словно слеза, стекала капля воды. Иногда ее зад, как сморщенный рот, открывался, и из него выдавливалась золотистая субстанция, а иногда из соседней щели выталкивалась струя пенистой мочи. И капала кровь, попадая

на грязную жижу у нее на хвосте. А когда я жила в этом маленьком домике, со мной вместе жила и мама, доставала свои обвисшие груди, чтобы покормить ребенка, и иногда давала попробовать молоко Красотки, выдавливая из вымени струю мне прямо в рот. Кто же из них был Красоткой, а кто моей матерью, а кто старшей медсестрой Бридж? И что тут вообще делал мой отец, расхаживавший туда-сюда в фуражке с серебряной кокардой?

Сестра Бридж была моей матерью. Я облизывала мягкое мороженое и шла вместе с ней по тропинке, над которой сладкими дугами нависали ветви боярышника, через решетку на земле, за угол, во второе отделение — и тут я осознала, что меня обманом привели туда, откуда я до слез желала выбраться. Да это же была ловушка.

Зайдя внутрь, старшая медсестра сказала своим обычным саркастичным тоном: «Иди в общий зал, горе, и чтобы больше никаких фокусов. Такому образованному человеку, как ты, должно быть стыдно».

Она говорила яростно, и моя душа ушла в пятки; она не заперла меня, но больше не обращалась со мной как живой человек еще очень долгое время: ей было стыдно за то, что купила мороженое, за

то, что показала место, где жила.

У нее не было детей; если не считать Дору, Бренду, Кэрол, Тотти, Мэри-Маргарет и многих других, которые на свои имена отзывались не так резво, как когда их толкали или дергали за шиворот.

И я нанесла удар.

Она спускалась по лестнице во двор впереди меня, и вдруг я толкнула ее в спину — она упала, закричав от гнева и боли. Наконец-то я намяла ей бока, бока на ее толстом теле в корсете, установленном на пухлых ногах в белых чулках, бликовавших на икрах. Ее большие ступни вздувались над кромкой туфель с потертостями, которые белели там, где сошел обувной крем. Я толкнула ее, и мне хотелось подбежать к ней и обнять ее, потому что она была моей матерью, а я причинила ей боль.

«Ах ты, маленькая дрянь. Ты же нарочно это сделала».

Я побледнела и начала плакать. Я знала, что она никогда меня не простит, что наш договор о взаимной вражде был подписан и скреплен печатью; как бы удивительно это ни было, ведь я любила ее и поэтому бросилась на нее, колотя в ее мягкий живот, требуя впустить меня с темной улицы, дать защиту от нависавшей надо мной

грозовой тучи, проливавшей на меня мой частный дождь.

Впустите меня!

«Извините, — сказала я как будто бы нехотя, — Я нечаянно».

«Дрянь, хитрая дрянь!»

27

А вот еще Хилари. Она была без ума от Гарри, хотя не вполне забыла Питера, от которого родила ребенка, пока была замужем за Джефри.

Хилари была одной из немногих пациенток, которые разговаривали «осмысленно», и, как и Кэрол, тоже умевшая «осмысленно» поддержать беседу, болтала в основном о мужчинах; но если Кэрол все время говорила о том единственном, который на ней скоро «обженится», то Хилари вспоминала всех тех, кого любила. Хилари было немного за тридцать, у нее были прекрасные золотистые волосы, «мягкие, как у младенца», как она говорила, тонкие губы с крохотными проколами от покусывания, пухлые руки, как будто отлитые из мягкого воска, и гладкие бледные ноги, которые она театрально скрещивала под обтягивающей черной юбкой каждый раз, когда в палату входил доктор Стюард. Она была готова к любви каждого мужчины, даже доктора Стюарда. У нее был один ребенок от Джефри, ее мужа, и еще один от Питера, ее любовника, и она планировала родить ребенка от Гарри, пациента больницы, занимавшего большую часть ее мыслей, которые

вырывались на поверхность в виде непрерывного монолога, обращенного ко мне, потому что в общем зале ее соседкой оказалась я; день за днем она сыпала признаниями, на которые я отвечала: «Да, я понимаю, хорошо тебя понимаю, понимаю, что ты чувствуешь», и такова была сила ее навязчивых разговоров, что я оказалась втянутой в чужую жизнь, полную любовных интрижек в чужих постелях, в загородных отелях, двойных виски, побоев, горя и грязи, в оправдание которой с завидным постоянством звучало: «Но я же любила его тогда», сказанное наполовину с удивлением, наполовину с убеждением.

В жизни Хилари значение имело только одно — поиски того самого, кем бы он ни был.

Джефри? Пьяница-шахтер, живущий на западе. Питер? Коммивояжер (в телефонной книге обозначенный как «торговый агент»), продающий костюмы, картины по дереву, закладки, белье, безделушки вроде стеклянных шаров со снегом и японских бумажных цветов, которые раскрываются, как правда, сами собой, если поместить их в наиболее подходящую для этого среду. Гарри? «Полная противоположность Питера. Он тихий, сумрачный и верный». Теперь единственным в ее жизни, убеждала меня Хилари, был Гарри.

Она познакомилась с ним на одном из организованных больницей танцевальных вечеров, где часто завязывались романтические отношения, даже посреди энергичного топота солдат герцога Йоркского, посылаемых в галоп на вершину и к подножию холма.

Гарри собирался развестись со своей женой и жениться на Хилари.

«Он знает о моем прошлом и моем пьянстве. Он все понимает».

Казалось, на мгновение она позабыла, что Питер тоже знал о ее прошлом и ее пьянстве и тоже все понимал и обещал развестись с женой. Мне было ее жаль. Она занималась поисками «того самого» так неуклонно, так отчаянно, с такой целеустремленностью, которая сделала бы честь любому ученому в его научных изысканиях, однако спонтанность ее поступков и их неизбежно трагические последствия естественным образом превратили ее в мишень для людей вроде старшей медсестры Бридж и главной медсестры Гласс, которые видели свою миссию в том, чтобы коллекционировать персонажей, которые не «усвоили свой урок» и которым нужно его разъяснить или вдолбить, на худой конец, предложить «измениться».

Иногда, чтобы скоротать время, Хилари пела своим низким, хрипловатым голосом, отчего зал временно наполнялся очарованием ночного ресторана.

> *Ты только представь, он мне во сне улыбку дарил.*
>
> *И сны мои все лучше с каждым разом.*
>
> *Подумать только, были друг другу мы никем...*[15]

И причины петь, что ее сны становятся лучше, у нее были; она начала проявлять сдержанное беспокойство, а это значило, что развязка была близка. Похоже, она проходила через эту стадию каждый раз, и было ощущение, что последовательность фаз и соответствовавших им ритуалов создавали для нее некий изысканный реликварий для хранения удовольствия или форму, в которую будет залито жидкое серебро ее переживаний. Это были декорации для ее любви.

Однажды утром Хилари куда-то пропала из прачечной, куда просилась на дежурство. Меж тем в мужской части больницы потеряли Гарри. Оба были найдены два дня спустя в густых за-

---

[15] Примечания: 15
М. Кертис «Сны мои все лучше с каждым разом».

рослях буша, раскинувшегося на холмах позади больницы.

Это была короткая, холодная и голодная авантюра.

Хилари была помещена в одиночную палату и вынуждена была пройти пытку нотациями мудрой задним числом главной медсестры Гласс, которая проповедовала, что Хилари «сама виновата». Мы видели, как к Кирпичному Дому приближалась высокая сутулая фигура доктора Стюарда, который должен был посетить Хилари, запертую в боковой палате рядом с постоянно сидящими в одиночках Кэтлин и Эсме. Главная медсестра отперла дверь (а такое важное событие требовало присутствия главной медсестры), доктор Стюард вошел и сразу же сконфуженно, в извиняющейся манере начал подготавливать почву для беседы.

«Мне бы не хотелось, чтобы вы, миссис Томас, подумали…»

«Ой да хватит уже, — сказала Хилари. — Я прекрасно понимаю, что вам надо. Мы собирались, но ничего не было. Да и потом, у меня из головы никак не выходил Питер».

«Это который коммивояжер?» — живо спросил доктор Стюард, потому что история Хилари не

была из тех, которые запоминались с трудом; и хотя доктор Стюард пытался проявлять интерес к своим пациентам — насколько позволяла ему главная медсестра Гласс и насколько у него было время, информация личного характера обычно от него ускользала, если только не была такой, которая, казалось, обладала особой силой прилипать ко всему подряд, подобно тем пластмассовым крючкам, которые крепятся к стене без гвоздей или шурупов.

Доктор Стюард, как и доктор Хауэлл до него, пришел в профессию молодым энтузиастом. Особенным успехом он пользовался у юных замужних женщин, так как сам был еще молод, был женат и был отцом, кроме того, считал необходимым придать некоторую камерность своим немногочисленным разговорам с больными (когда случалось, что он все-таки приходил в отделение), рассказывая с нескрываемой гордостью о своей жене и семье (сынишке). «Вот моя супруга тоже так думает, — мог он вдруг отметить. — Да-да, жена тоже от этого страдает».

Ситуации, в которых он упоминал свою жену, варьировались от разговоров о менструальных болях до рассмотрения проблематики пробуждений по утрам и жалоб на то, что в окнах

появляются странные лица, и хотя нельзя с уверенностью сказать, одобряла ли супруга доктора Стюарда его методы, подход давали свои плоды. Когда доктор шел по отделению в один из своих редких визитов, можно было слышать, как пациентки, даже те, кого не относили к «разумным», с гордостью сообщали, что жена доктора Стюарда ощущала себя точно так же, как они: «Он сказал, что его жена точно так же страдает; она чувствует то же, что и я». А бывало и так (представьте степень восхищения и благодарности): «Он сказал, что думает точно так же, как я».

Черта, которая выделяла доктора Стюарда на фоне остальных врачей, было его стремление понять пациента. Были такие, кто просто «делал дело», и такие, кто обрывал на полуслове, и такие, кто говорил с пациентами громким голосом, как будто у тех были проблемы со слухом, и такие, кто задавал странные вопросы, и только доктор Стюард осмелился признать, что он чувствовал «то же самое», что и мы. В благодарность за это нам страстно хотелось его защитить, особенно от его жены, которая, казалось, испытывала самые разные боли и не особо дружила с головой.

«Сердцем чую, он у нее под каблуком, — говорили пациентки. — Она шагу не дает ему ступить

без разрешения».

А еще он был бледен. Возможно, страдал от какой-то таинственной болезни. Это разве не он был в немецком концлагере?

Хилари относилась к доктору Стюарду с особым уважением. Она приняла тот факт, что он подписал приказ о ее изоляции, поскольку знала, что у него нет защиты от главной медсестры Гласс и старшей медсестры Бридж, а еще он не мог пойти против установившейся традиции, согласно которой сбежавшего пациента запирают в одиночной палате со спальным местом на полу. Кроме того, Хилари действительно совершила преступление, когда целых две ночи провела в компании мужчины в горах!

Главная медсестра Гласс не жалела красноречия. Ей самой некуда было идти, кроме как в маленькую квартирку, которую ей выделили рядом с первым отделением, неподалеку от главных офисов, а в выходные дни она уезжала на автобусе в город или каталась на машине. Глядя на нее в обычной одежде, понимала, что униформа и сестринская косынка были для нее защитой; в коричневом костюме, специально скроенном по ее крупной фигуре, и коричневых туфлях повышенной комфортности она казалась

лишенной свой власти настолько, что вид у нее становился беспомощный и жалкий.

Она была одной из тех главных медсестер, которые считались «эффективными сотрудниками». Она жила своей работой. Она была непреклонна, стремилась преподать урок нерадивому человеку, заставить его «держать себя в руках».

После нескольких недель в заточении, когда выяснилось, что угрозы беременности нет, Хилари появилась вновь, заявив, что теперь она стала другой женщиной.

«У меня было время все обдумать, — сказала она. — На самом деле, я же люблю Гарри. Он чем-то похож на моего первого мальчика, когда мне было еще восемнадцать; я должна была выйти за него замуж; нежный такой, играл в крикет по субботам в белом фланелевом костюме; и невинный; представляете, он краснел от смущения. Когда вообще вы видели, чтобы мужчина краснел в надлежащей ситуации? Следовало пойти за него замуж».

На мгновение казалось, что, охваченная внезапными воспоминаниями, Хилари готова позабыть Гарри ради своего первого возлюбленного. А потом, очнувшись, добавляла: «Гарри — это тот же типаж. Он же обещал развестись с женой и

жениться на мне».

Увы, когда Хилари была заперта в одиночной палате, Гарри познакомился с Кэрол и ее «ручательным» кольцом с «брульянтом» и вовсю забрасывал сомнительные записки через шестидюймовое отверстие в нижней части окна нашего общего зала. Он работал на ферме и каждое утро проходил мимо, иногда принося для Кэрол сигареты и любовные записки.

К счастью, боги были благосклонны к Хилари, и на первом же танцевальном вечере на следующей неделе, еще до того, как она успела обдумать предательство Гарри, и слабость Кэрол, и ошибки своего собственного суждения о сумрачном, тихом человеке, который будет «верным», она познакомилась с Леном. И даже если бы этого не случилось, она не стала бы тратить время на размышления; она бы выругалась, а если бы не находилась в больнице, пошла бы на пивную вечеринку, напилась там и встретила бы кого-нибудь еще; потому что в поисках мужчины она была такой же целеустремленной, как шелкопряд, пожирающий листья тутового дерева.

Она не могла понять, почему не замечала Лена раньше. Он был крепкого сложения, темноволосый, угрюмый и вспотевший, с густыми усами

и глазами цвета ириски. Он был «наполовину итальянец» и продолжал думать, что все еще участвует во Второй мировой войне на стороне Италии, но его лечат и скоро вылечат, а потом они с Хилари поженятся.

«Он обещал. Когда завершится оформление его развода…»

> *Котенок, но в тоске по джунглям стынет.*
>
> *Рожден свободным, он свободным сгинет.*
>
> *Людей хотел бы в клетку заключить,*
>
> *Чтоб поняли, что значит это – жить*
>
> *В неволе вечной*[16].

Нет надобности, милый котенок: все мы заточены в собственных клетках, запертых на замок Привычкой. Я вижу, как доктор Стюард бегает кругами вокруг клетки Хилари, говоря ей взять себя в руки, учиться на собственном опыте, не догадываясь, что ему и самому нужно повернуть ключ, свисающий с его цепочки от часов. «Моя супруга тоже так думает…»

---

[16] Примечания: 16
Дж. Голсуорси «В неволе вечной». Пер. Н. Сидемон-Эристави.

28

Все это казалось таким далеким: прошло более шести лет с тех пор, как я впервые попала в лечебницу и на прогулке с любопытством и грустью смотрела на умалишенных из второго отделения, удивлялась их странным шляпам, мятым пальто, перекрученным чулкам, их детскому волнению перед всем, что их окружало, их исступленному восторгу при виде обычного, заурядного солнца, привычно висевшего в небе, и при виде растущих по краям сада цветов, поражавших своим молчанием даже больше, чем своими красками; тому, как они стояли, ослепленные, смотрели на мужчину в рубашке с рукавами, который казалась им доктором, косившим лужайку перед своим домом, пока его жена сидела рядом, играя с их белоголовым ребенком.

Теперь, когда я сама была полноправным обитателем второго отделения, я с таким же изумлением смотрела на могущественное солнце, патрулировавшее землю («Не задерживайтесь!», «Несанкционированное нахождение на территории запрещено»), в то время как брошенная в подземелье тьма ожидала суда. Солнце казалось

более близким, более грозным, со всеми этими приказами об исполнении решения суда, принесенными на лучах и отброшенными в виде тени в стратегических местах, чтобы мы могли прочитать их, принять к сведению, возможно, принять экстренные меры. Когда я выходила на прогулку уже обитателем второго отделения, в небе стояло не то солнце, что светило для четвертого отделения, и на лужайках цвели не те цветы, что следовали велению кукловода — легкого ветерка со стороны четвертого отделения. Мы видели зловещие столкновения красок и слышали взрывы на краю сада. Мы с благодарностью смотрели на тополя, и страх, заставлявший их трепетать, проникал к нам по тайным каналам, вызывая дрожь и у нас. Я ловила каждую возможность, чтобы прогуляться под открытым небом, но старшая медсестра Бридж, зная, как мне это нравилось, велела «не потакать» мне. «На прогулку разрешено ходить только тем, кто заслужил, — таков был ее вердикт. — Кто знает, как себя хорошо вести, а не выбегать с криками из-за стола и плакать, когда ее переводят в “грязный” зал. Как будто она лучше остальных, когда на самом деле наоборот».

При этом сестра Бридж приветствовала официальные мероприятия вроде прогулок, похода в

церковь, танцев и призывала всех из «чистого» зала, а также тех из «грязного» зала, кого можно было выпускать на некоторое время, принимать в них участие. Прогресс Клифхейвена во внедрении «нового подхода» был налицо. В шкафу для верхней одежды висели больничные платья и коллекция вечерних платьев пастельных тонов из жесткой блестящей ткани, со сборками, складками, расклешенными подолами, а иногда с нижними юбками из прозрачного нейлона, совпадавшими по цвету с основным нарядом, — все это было куплено главной медсестрой на больничные средства во время одной из поездок в город, и выдавалось для выхода в свет тем, кому нечего было надеть, то есть тем, к кому не приходили посетители. Хотя главная сестра Гласс постоянно твердила мне, чтобы я написала домой и попросила, чтобы мне прислали одежду, я этого не делала, потому что у моих родителей не было либо денег, либо понимания, что пациенты психиатрических больниц носят не только штаны, которые мне дарили в праздничной обертке на Рождество и дни рождения.

Меня включили в группу «забытых» и тех (обычно тоже «забытых»), которые останутся жить в больнице до самой смерти. У нашей

группы тоже были свои радости. Однажды с нас снимали мерки, чтобы закупить новые юбки и костюмы, прибытие которых стало волнующим событием, если не слишком задумываться о том, что когда-то это все станет униформой для мертвых. Я все еще не могла поверить, что у меня не было никакой надежды, бегала по кишащей крысами нейтральной полосе между лагерем веры и лагерем неверия, присоединяясь то к одной, то к другой стороне. Никак не могла разобраться во Времени, не зная, чего хотеть от будущего; боясь столкнуться с настоящим, жестокостью старшей медсестры Бридж и наказаниями, которые она мне назначала; и не смея посмотреть в прошлое. Поэтому я молчала, терзая свое ограниченное временем «я», иссушая, будто бесснежным морозом, кромку своей жизни, пока она не сминалась и не опадала, словно листья, под суровым, дующим с моря юго-восточным ветром.

Да, мы тоже танцевали, умалишенные из второго отделения, на которых даже обитатели наблюдательной палаты смотрели как на психов со странностями. Мы надевали наши удивительные вечерние платья, из тафты, вискозы, атласного джерси в цветочек, и выстраивались в очередь перед амбулаторией, чтобы нам сде-

лали макияж: в принадлежавшей отделению косметичке хранились огрызки губной помады, взъерошенные пуховки в комках пудры, коробочка с розовыми румянами и флакон с ароматом гвоздики, которым нам прыснули за уши (кто бы захотел нас целовать?) и на запястья. По завершении всех манипуляций мы превращались в клумбу из гвоздик и выглядели как загримированные под шлюх актрисы.

Ощущалось волнение; ожидание чего-то приятного заставляло покрываться потом, из-за чего наши носы начинали блестеть, несмотря на пудру, а подмышки платьев медленно становились влажными. Приходила главная медсестра, запыхавшаяся, с порозовевшими щеками, и сообщала, как посланник из дальних стран, что «все в четвертом отделении давным-давно готовы и выдвинулись», или «первое отделение только заходит», или «музыканты прибыли». От этого волнение только усиливалось, и тех, кто бурлил эмоциями, приходилось укладывать спать, а остальных утихомиривать холодными угрозами, снижая энтузиазм до приемлемого уровня благопристойности. Главная медсестра Гласс улыбалась, и старшая медсестра Бридж улыбалась, раздавала нам комплименты и предупреждала Кэрол о

том, чтобы она не ходила со своим партнером по темным углам столовой мужского отделения, где мы должны были поужинать, после чего наконец пройти через темный, сырой от росы двор; через первое отделение с его амбре мокрых кроватей и покрытой корками кожи и неповторимым запахом увядания — пропуском или бесплатным образцом, который смерть выдает всем старухам; по коридору для посетителей с его тюремной атмосферой, отгороженным решеткой камином, натертым мастикой коричневым линолеумом и длинными кожаными диванами с прямыми спинками; вплоть до той части больницы, которая нам не была знакома, — безотрадности и опустошенности, свойственных мужским отделениям; наконец, прийти в большой зал с его ярким светом, полом, посыпанным порошком, и рядами сидений вдоль стен, с одной стороны наполовину заполненных мужчинами, а с другой — женщинами, и обитыми красным плюшем креслами в дальней части зала, повернутыми лицом к сцене, для официальных лиц: врачей и, может быть, гостей, приглашенных из города, чтобы они могли ознакомиться с тем, как душевнобольные пациенты проводят досуг. Официальные лица обычно прибывали незадолго до ужина, а до этого

присутствовал только дежурный врач.

На сцене музыканты играли легкую, непринужденную музыку. Мы находили себе места вдоль стены. Свет слепил. «Истина, Эдит за тобой присмотрит, — говорила Эдит, чуть ли не силой усаживая меня на сиденье. — Садись рядом с Эдит». Когда прибывала последняя группа пациентов из мужских отделений, застенчивых, с приглаженными волосами, в отутюженных брюках и с белыми носовыми платками, выглядывающими из кармашков на груди, и когда появлялась последняя группа женщин, скептически настроенных выздоравливающих пациенток из коттеджа, восклицавших недовольно, что они не очень-то и хотели приходить на танцы, что их заставила старшая медсестра, но, в целом, почему бы и не глянуть, из-за чего вся эта суета, — тогда пора было начинать.

Я не могла не смотреть на обитательниц четвертого отделения, которые выглядели роскошно в собственной одежде, на миссис Пиллинг в драгоценностях и Мейбл в блестящем изъеденном молью вечернем платье, которое она всегда надевала, чтобы стать в пару с пациентом по имени Дик, щеголявшим во фраке, галстуке и белых перчатках.

Музыканты заиграли вальс.

«Приятная музыка прошлых лет, — сказала одна из медсестер. — Поднимайтесь и идите танцевать, вперед».

Мужчины либо стояли застыв у стены, либо хаотично носились по всему залу, чтобы схватить партнершу и утащить ее в пляс — с ее согласия или без него. Иногда кто-нибудь из мужчин, протанцевав с партнершей несколько шагов, решал, что она ему все-таки не ровня, уходил и выбирал кого-нибудь другого; иногда женщина бегала по всему залу, чтобы выбрать себе партнера. Формальные правила почти не соблюдались, зато многое говорилось и делалось с прямолинейностью, которая превращает оскорбление в добродетель; были любезности, и обещания, и путаные разговоры, следовавшие за приветственной фразой «Давно вы в больнице?», а вовсе не «Пол хороший, не правда ли?».

У большинства пациентов, которые прожили в лечебнице уже много времени, был свой преданный партнер. Моим был Эрик, лысоватый мужчина средних лет, который необъяснимым образом напоминал мне фокусника, приходившего к нам в школу в конце четверти и бравшего с нас три пенса за то, чтобы мы посмотрели,

как он расстилает на классном столе атласные скатерти и вытаскивает шелковые платочки из цилиндра; и хотя он никогда не гнался за сложными чудесами вроде разрезания людей пополам или исчезновения под потолком, свои трюки он выполнял всегда безукоризненно.

Эрик не был романтичен, но он попадал в такт и не наступал мне на ноги. Рот его был открыт, голова вытянута вперед, старания и сконцентрированность заставляли кожу на лице блестеть жиром. Я терпеливо ждала, чтобы он показал ровно тот фокус, за который я заплатила свои три пенса; достаточно было атласных тканей и шелковых носовых платков, ни больше, ни меньше; а в остальном пусть мир остается прежним, больные не исцеляются, крыша не растворяется и не впускает внутрь звезды.

Танцевать научил меня именно Эрик. И танцевали мы саму Судьбу.

Моею навеки будь,

Только приданое взять не забудь…

Он вел себя с расстановкой, по-отечески и обычно отводил меня на общий ужин; мы ели последовательно, как будто читали книгу, не пропуская ни единого слова: от сэндвичей до

восхитительных пирожных, покрытых затейливой глазурью, пока не приносили напитки, пузырящиеся, игристые, живые, — одну бутылку на человека, или две, если ты сумел проявить ловкость или имел предприимчивого партнера. Никакая романтика не могла тягаться с едой. Я помню одного партнера, который рот открывал, только чтобы положить туда пищу, и говорил мне, прежде чем перейти от сэндвичей к пирожным: «После этого я пощупаю твою ногу».

Наши сердца бились чаще только от одного вида еды; никогда не было случая, чтобы мы не начали лихорадочно распихивать бутерброды по карманам, и всегда с сожалением встречали последние несколько танцев, когда приходилось бросать остатки ужина и возвращаться в большой зал. Ближе к десяти часам мы начинали уставать, но наше радостное возбуждение, уже переходившее в раздражительность, вновь возвращалось, когда мы замечали доктора Стюарда и, возможно, доктора Портмана, которые сидели в своих креслах, обитых плюшем, смотрели, указывали на нас и улыбались.

Каждый раз, когда я видела доктора, мое сердце сжималось от неизвестности, потому что, несмотря на влияние главной медсестры Гласс и

старшей медсестры Бридж, значение имело только то, какое решение примет сам доктор; однако же как он мог что-то решить, если не знал тебя, не знал по-настоящему, исключив всякое общение с тобой (кроме, разве что, «доброго утра», если ты был пациентом четвертого отделения, и просто исключив всякое общение, если из второго), прислушиваясь к советам старшей медсестры Бридж, утверждавшей, что такой образованной барышне, как ты, нужно преподать урок, научиться вести себя и держать себя в руках. Поэтому, когда меня кружили в вальсе мимо «царской ложи», я дрожала от страха, старалась танцевать хорошо и думала: «Там доктор Стюард, он видит меня, видит, что кто-то пригласил меня на танец, что я не боюсь людей, видит, что я здорова, что мне не нужно оставаться во втором отделении и весь день проводить запертой в палате, или во дворе, или в парке; он как раз обдумывает, что делать. Принимает решение». Но когда наша пара приближалась к нему, и я осмеливалась мельком посмотреть на него, окутанного королевским достоинством, оказывалось, что думает он вовсе не обо мне, что он даже не замечает меня, а с кем-то разговаривает. «Да, я… Я… Я…»

Ну конечно же. Как и я, как и все мы, думал и

говорил он только о себе.

Танцы закончились; у выхода из зала нас выстроили в группы по отделениям и выталкивали наружу, а пока мы проходили, медсестра пересчитывала нас, дотрагиваясь ладонью до каждого плеча. «Поживей, иначе вы тут на всю ночь останетесь. Проходите. Есть еще кто-то из второго? Сестра, у вас всё четко? Вы проверили, чтобы все были на месте?» Когда мы шумной толпой спешили через первое отделение, от света и гомона наших голосов некоторые дети просыпались и начинали плакать, а некоторые так и лежали невозмутимо, блаженно и с розовыми личиками. Старушки начинали шевелиться и вздыхать — кряхтели их кровати и их кости. Опуская пустые формальности, в Кирпичном Доме с нас сняли вечерние платья, а нас развели по палатам и заперли.

Интересно, кто придумал давать нам пирожные вместо успокоительных — если вообще когда-либо стоял такой выбор? Сладким кормили часто: почти каждый вечер и особенно в ночь танцев или во время любого другого официального мероприятия. Среди возгласов, криков и ругательств надежды на сон было мало. Наше шумное возвращение обязательно будило тех

немногих, кто уже спал в «грязной» ночной палате; остальные продолжали буйствовать, но уже не сдерживаясь. А среди возвращавшихся были раздраженные, усталые, не желавшие ложиться спать, подавленные мыслью о завтрашнем дне и тем, как медсестры — жестокие приставы — отбирали и уносили красивые вечерние платья, — далеко ли тут до злости и насилия…

В своей маленькой комнате я свернулась клубочком, засунув голову под одеяло и прижав пальцы к ушам; сон не шел, бессонница обжигала глаза, и утро наступило слишком быстро, с его дроздами, тусклым светом, пробивающимся сквозь закрытые ставни, и позвякиванием ключей, когда сестры в шесть часов утра отпирали двери и забрасывали в палаты узлы с вещами. Были драки, не хватало предметов одежды, женщины чувствовали себя грязными и липкими от вчерашней косметики и таращились на клоунов по соседству, пытаясь отыскать в этом шуме себя и разобраться, кто есть кто. Персонал тоже был не в духе. «Никаких больше вам танцев. Никаких».

Однако в течение дня, если и были разговоры, то о танцах. Бренда поджимала губы и говорила: «Я видела вас прошлым вечером, мисс Истина Мавет, вы так чудесно проводили время, все тан-

цевали и танцевали. У вас был такой авантажный кавалер. Как бы я хотела, чтобы у меня был такой же авантажный кавалер, чтобы аж сердце колотилось сильнее. Подите прочь, мистер Фредерик Барнс. Сию же секунду».

Эрик не был «авантажным», и я вовсе не проводила время «чудесно»; симпатия Бренды ко мне всегда граничила с завистью и тоской, что заставляло меня чувствовать себя ответственной за ее спасение и за помощь в бедственном положении, если спасение так и не придет. Мне было стыдно за свою цельность по сравнению с разорванным сознанием Бренды, разбросанным таинственным взрывом по четырем углам самого себя. Я знала, что в ее мозгу пытались просверлить дыры, чтобы позволить беспокойным силам вылететь наружу — листьями или демонами, сбегающими с горящего дерева, — но безуспешно. Кто мог бы собрать ее по частям? Где тот волшебник? Я — была бессильна. Знакома я была только с одним пухлым чудодеем, который мог бы, если его хорошенько попросить, достать из цилиндра вереницу шелковых носовых платков.

29

День спорта проходил каждый год в конце лета, в феврале, когда свежий морской бриз уже рыскал в поисках признаков разложения, бесцеремонно прочесывал траву, осматривая каждую увядшую травинку, как ребенок, показывающий пальцем на седые волосы стареющего незнакомца, и перебирал каждый листок на дереве, как бюллетени на выборах, подсчитывая голоса за смерть. Часто, из осторожности, по инерции или из-за необходимости накопить секретный арсенал, лето замирало на несколько дней подряд, стояла неизменно хорошая погода, принося обманчивое ощущение безвременья, отрыва от времени; на самом же деле, так начиналось его нападение, противостоять которому было невозможно, а потому оно вытеснялось из сознания и монотонно, незамеченным, происходило где-то на фоне, как тиканье часов, или шум транспорта за окном, или дыхание моря.

Когда в этой дремоте объявляли о проведении Дня спорта, грубость вторжения всегда приводила в шок. Приходилось останавливаться и прислушиваться, как будто сменились ритмы ча-

сов, движение транспорта за окном или морские течения; и повсюду растекался страх, как будто опорный слой времени начинал внезапно растворяться. Сейчас кажется странным, что всего один день мог вызывать столько эмоций, что на излете лета, уставшего, в халате, с заколотыми волосами, готового уступить свое место и отойти ко сну, психиатрических пациентов вызывали на строительство храма, прославляющего физическую силу. Что все это могло значить?

Ничего. Это был просто День спорта, очередной промежуточный финиш марафонского забега, который начался за недели до этого и от которого пациентов, становившихся неуправляемыми, одного за другим, отстраняли, перемещая в парк, или во двор, или в «грязный» зал, или в одиночку; в то время как главная медсестра Гласс и старшая медсестра Бридж стояли на обочине трассы, построенной из беспокойства и волнения, и подгоняли нас своими криками: «Никакого тебе Дня спорта, если будешь себя так вести. Следи за своим поведением, иначе праздник будет для всех, кроме тебя».

В выходные, предшествовавшие назначенному дню, на лужайке перед главным входом в больницу размечали территорию, где будут возводить

храм: белые линии, шесты для прыжков, песочницы, красно-белые флаги, дерзко хлопающие на ветру; во время прогулки в воскресенье мы увидели, как группы пациентов-мужчин готовились к основным категориям соревнований: прыжкам с шестом, прыжкам в мешке, или разминались, бегали на месте, высоко поднимая колени. Они были похожи на мальчишек, которые выходят на поле до или после большой игры и надеются, что толпа наблюдает и за их подвигами, только сейчас они подражали не взрослым героям, а самим себе, замыкая круг своего одиночества.

Смотрите! Тучи на небе для нас не беда, готовы сразиться везде и всегда!

В понедельник мы надели праздничную одежду, которая выглядела неуместно на людях, собиравшихся принять участие в спортивных состязаниях, однако согласно больничным правилам все пациенты, посещающие мероприятия, проводящиеся перед входом в больницу, должны были быть «пристойно» одеты, так как иногда на нас приходили поглазеть деревенские жители, а во второй день соревнований для местных детей в школах делали наполовину свободный день и организовывали специальную программу состязаний по бегу — с последующими угощениями

и газировкой.

Мы стояли в мятой, пропахшей потом одежде и смотрели, как санитар в элегантном черном костюме с брюками без манжет, как у полицейских, выстраивает обитателей первого отделения в очередь, и некоторые из нас тоже вызвались посоревноваться: чем больше времени ты провел в лечебнице, тем охотнее участвовал в празднествах, которые у непосвященных, каким было большинство в четвертом отделении и в отделении для выздоравливающих, вызывали лишь смущение и неловкость, так что мало кого из них можно было убедить прыгать в мешках и связывать ноги платками с какими-то мужчинами, чтобы бегать наперегонки на трех ногах. Как и на танцах, им было непонятно, из-за чего столько шуму.

Но мы, выходцы из второго отделения и вечные пациенты первого, жили в состоянии непрекращающейся битвы, и потому становились друг другу ближе, несмотря на то, что существовали в отгороженных, запираемых на ключ мирах, как будто внутри стеклянных шаров с искусственной метелью, и, сами не осознавая того, с благодарностью принимали любые радости: не беспокоились, что бежать нужно будет в платье

из тафты, заправленном в штаны, и не стеснялись дважды подойти за мороженым, солгав, что нас «пропустили» во время первой раздачи. Кто-то объявил по громкоговорителю: «Бег без препятствий: женщины!» Мое сердце заколотилось от волнения, потому что после дежурного обмена любезностями («Ты же неплохо бегаешь, Истина. Не хочешь поучаствовать?» — «Нет, не очень». — «Почему нет? Давай, поборись за честь отделения!» — «Ну хорошо») я знала, что поспешу на старт и, когда прозвучит выстрел, выскочу на дорожку, отделенную белыми полосами от соседних, и буду бежать изо всех сил, несмотря на дующий в лицо ветер, пытающийся помешать моему продвижению, и буду чувствовать, что стою на месте, потому что земля, точно мокрый песок, будет странными кусками убегать назад из-под ног.

Иногда я первой срывала финишную ленту и спешила, запыхавшись и гордясь собой, уверенная, что все мной восхищаются, к санитару, который давал мне карточку, на которой было напечатано красным шрифтом «ПЕРВОЕ МЕСТО»; вместе с другими победителями, одновременно тараторившими, ронявшими вразнобой слова, мы заходили внутрь шатра, хлопавшего полот-

нищем на ветру, пропахшего опилками, где на столах были выставлены призы. У всех на виду, довольные, мы сдавали наши карточки. Эрик, как один из надежных пациентов (и каким-то образом естественный обитатель маленьких палаток, предлагающих сомнительной надежности аттракционы, которые окружают, словно почти белые полотняные горы, ярмарочную площадь передвижного шоу), стоял за одним из столов и выдавал призы.

«Я смотрел, — сказал он, передавая мне капроновые чулки, награду за первое место. — Побежишь со мной трехногую гонку?»

«Нет, — ответила я сдержанно. — Я уже Теду обещала».

Тед был бывшим воспитанником борстальского исправительного учреждения, теперь он работал в саду у главврача и по утрам помогал с флягами для молока. Он был коренастый и смуглый, и лицо его, казалось, всегда имело выражение лукавого восхищения собой и другими людьми. Непреодолимое желание прикоснуться к тому, чем он восхищался, и отправило его в борстальское заведение. Руки у него были большие и неуклюжие, как будто отдельные люди с собственной волей, и отказать им в праве трогать

что-то было все равно что запретить скульптору работать с камнем. Тед, однако, скульптором не был; он был молодым человеком, которому нравилось дарить и получать обожание, и его пронырливое выражение лица было результатом его неизбывной тяги торговать восторгами, — ремесла, в которое он, без преувеличения, вложил свою жизнь.

В День спорта он участвовал во множестве соревнований и выигрывал, не умея сдержать своей радости, прыгал по полю, мешаясь у всех под ногами, и когда он подошел ко мне, я согласилась составить ему пару в состязании. Мы выиграли. Я пошла за очередной наградой.

«Я смотрел, — сказал Эрик, передавая мне капроновые чулки. — В следующем году побежишь со мной?»

Тем временем привезли напитки, не газировку в бутылках, как на танцах, а какой-то густой сироп кроваво-красного оттенка в емкостях, напоминающих канистры из-под керосина, который разливали по больничным чашкам и который оставлял красное пятно на донышке. Мы пили и возвращались за добавкой; нам разрешалось пить столько, сколько мы хотели, отсутствие рядом кого-либо, кто говорил бы:

«Барышня, с вас достаточно», вызывало у нас гипертрофированное чувство восторга и, возможно, где-то на окраинах нашего сознания спящее чувство беспокойства о том, что у нашего самовольного пикника неизбежно будут последствия. Радостных, вели нас на обед во второе отделение, которое, как мы с потрясением обнаружили, совершенно не изменилось: из «грязного» зала по-прежнему доносились крики и ругань, а старшая медсестра Бридж по-прежнему громко объявляла: «В уборную, дамы!» — и вставала снаружи в караул.

Осознание того, что желание измениться не влечет за собой немедленных перемен, дается всегда тяжело. Почему второе отделение все еще существовало, когда мы весело кутили на лужайке перед главным входом, наслаждались праздником, рубиновым сиропом и мороженым? Почему мы считали, что, пока мы наблюдали за вереницей шелковых платков, фокусник перестал практиковать свои навыки обмана, а не довел их до такого уровня, что в конце концов мы отказывались думать, что это был обман?

Во второй половине дня прибывали врачи, их жены и дети, чтобы посмотреть на соревнования между сотрудниками больницы. Мы больше не

участвовали в состязаниях, а были лишь зрителями, пристально рассматривающими странных людей, которые не были пациентами. По мере того как тускнело радостное возбуждение от пережитого за день, уходила эйфория, обнажая мусор обыденности, снова начинало расти чувство одиночества и подавленности: «В Кирпичный Дом, дамы», «В уборную, дамы», «В парк, дамы». Мы поняли всю правду о пикниках, танцах и днях спорта, как ребенок, который через некоторое время узнает настоящую цену обещаниям стоматолога убрать боль, положив «куколку на кукольную подушку, чтобы она спала у тебя во рту».

30

Руки, руки мои перепачканы, под обкусанными ногтями въевшаяся грязь, и моя борода, которая появилась еще в Батистовом Доме, теперь растет быстрее, но никто, кажется, не подозревает, что она у меня есть. Я затираю ее наждачными рукавицами, которые мне присылают мои родные, и одна из опасных задач для меня теперь заключается в том, чтобы прятать их на себе так, чтобы никто не смог ни о чем догадаться, и каждое утро зачищать лицо под покрывалом.

Я никчемна. Я худею. Я смотрю на свое отражение в зеркале в коридоре, на свою больничную юбку и больничный костюм, на свои пушистые волосы. Мне двадцать восемь, скоро будет восемь лет, как меня поместили в четвертое отделение. За морем умер король — музыку укрыли саваном, и Кэрол кричала, чтобы прекратили наконец изливать из радио, посаженного в клетку и запертого на замок, панихиды и чтобы сыграли «Волшебным вечером однажды».

Волшебным вечером однажды повстре-

чаешь незнакомца…[17]

А потом короновали королеву, и по этому поводу в отделениях были организованы празднования, вечеринки и пирушки. Бренда играла на пианино в «чистом» зале, несмотря на то, что не желавший этого мистер Фредерик Барнс теперь совсем отказывался оставлять ее одну и ее протесты против его воли приводили к отвратительным проявлениям насилия и взаимным обвинениям в домашнем кругу ее разума. В тот день мы пили безвкусное мутное пиво, Кэрол спела для нас «Волшебным вечером однажды», «Провожая мою милую домой», а Хилари спела «На вершине Олд-Смоуки».

Где-то, где на горных склонах серебрится белый снег,

Я любовь свою утратил, потому что был несмел.

Минни Клив сыграла «Кэмпбеллов» и вся светилась от счастья, потому что нашла свой носовой платок; после недолгих уговоров миссис Шоу станцевала: у нее были громадные груди, которые свисали почти до колен, как пустые

[17] Примечания: 17
О. Хаммерстайна II «Волшебным вечером однажды».

мехи, и пациенты, и медсестры находили забавным то, как они прыгали вверх и вниз во время танца. И Моди, которая была Господом, видя популярность номера миссис Шоу, тоже вызвалась станцевать, пропуская такты, натягивая носочки и демонстрируя свои красивые ноги, на которых прекрасно смотрелись бы бриджи царедворца. Она быстро начала задыхаться, но продолжала гарцевать.

«Моди, прекрати!» — крикнула Кэрол.

Моди вытянула свою карающую длань. «Низвергнуты будут», — предупредила она, снова перевоплощаясь в Господа.

«Так, — сказала медсестра, — кто еще хочет выступить в честь Дня коронации?»

«Я могла бы рассказать историю, — начала Большая Бетти, — но не на публику».

«А ты, Джули? — предложила медсестра. — Споешь?»

«Нет», — кратко ответила бородатая Джули.

Затем пришли главная медицинская сестра и доктор Стюард, улыбаясь благосклонной улыбкой всем обитателям комнаты одновременно. Главная сестра обратилась к Большой Бетти, которая полулежала на своем диване: «Ну что, Бетти, развлекаетесь?»

«Вот, молодые, — сказала Бетти, — просто ничего не хотят показывать в честь коронации».

«Ну что же вы, королева не каждый день восходит на трон, — упрекнула главная сестра ханжески. — Будьте добры, отдайте должное событию».

Солнце и тень не более чем обман; я ничему не доверяю; и я понимаю, почему мы боимся телефона, почему, даже перерезав кабель, поднимаем трубку и ждем, что заговорит голос, который нас пугает; и я понимаю, что такое зеркала, и пытаюсь отследить в их глубине точку, в которой мы становимся ничем: да, я смотрю в высокое зеркало в коридоре возле кабинета медсестры и знаю, что оно поставлено там, чтобы нас ловить, в точности, как ставят зеркала в огромных магазинах, чтобы охранник мог поймать нас, когда мы выбираем что получше или воруем в отделе, где продают нас самих. Кто теперь владеет нами? Разве преступление, когда мы воруем у себя? Я никогда не видела столько любви на складах; запертая, запечатанная и уцененная, она просачивается, проползает сквозь стены смрадным духом, оставляет запотевшими стекла, с которых ее стирают одним движением руки.

Теперь мне говорят «никогда», да, дорогая, вы

никогда не выйдете отсюда, так что вам лучше начать принимать вещи такими, какие они есть; как если бы я была барахолкой, сама себе милостыней. Мне не делают ЭШТ, мне вообще не назначали процедуру с тех пор, как я покинула Трикрофт, и хотя страх перед ней никуда не делся, он живет где-то на отдалении; кроме того, врач дал обещание. И все же чувство безнадежности с каждым днем становится все сильнее. Я пытаюсь заключить с солнцем договор, достойный учебников по истории, который определял бы условия его сияния (в назидание остальным), согласно которым каждый день испепеленное небо должно прирастать новым облаком; прощение не так-то просто выразить. Утром солнце выдыхает на лужайку пар лимонного цвета и доски забора в парке покрыты пятнами ночной сырости. Может ли быть так, что солнце, эта котельная, — на самом деле тайный крематорий?

В своем кабинете за правой стенкой ящика старшая медсестра Бридж хранит коробку с барбитуратами, которые, согласно установленным требованиям, должны быть заперты в шкафу для ядовитых веществ. Я сама их видела. Видела однажды вечером, когда на дежурстве была не она сама, а ее заместитель, медсестра Клейк, ко-

торая сказала мне: «Истина, ты не сделаешь мне массаж ног и ступней?»

Я боялась медсестры Клейк. Она была замужем за мясником, и в лица их обоих — и медсестры, и ее мужа — проникла ослепительная мясная краснота. Что мешает мне прокрасться в кабинет по пути из столовой, схватить таблетки, проглотить их, заснуть глубоким сном и больше никогда не просыпаться?

Смерть, сказала я; она похожа на истину; с континента на континент мы перелетаем внутри этих двух слов, устроившись с комфортом, доступным в первом классе, но когда приходит время покинуть словесную оболочку и прыгнуть с парашютом туда, где скрывается смысл, — на темную землю и морские воды под нами, получается так, что то парашют не раскрывается, то мы застреваем на отмели или дрейфуем далеко от нашей цели, то, вглядываясь в темноту под ногами и охваченные страхом, отказываемся вовсе покидать имеющийся уют.

Я писала смерти: «Уважаемая Смерть! — начала я, придавая нашим отношениям официальную тональность, а лужайка и парк были усыпаны расточительно пролитыми остатками света. — Таблетки украла я».

«Вот дрянь, хочет, чтобы меня уволили. Я же знаю, зачем ты их стащила».

Потом были промывание желудка, черный кофе, до того как уснула, крики, крики на старшую медсестру Бридж, склонившуюся, с волосами, собранными и перевязанными, как сноп сена; потом наступил сон в заточении.

А затем наступило утро. Завтрак для Эсме и Кэтлин и звук пустых эмалированных мисок, брошенных в дверь; я ждала свою тарелку овсяной каши, кусок хлеба и кружку чая, но никто не пришел. Я слышала, как болтали работающие пациентки из первого отделения и как женщин из «чистого» зала повели в половине девятого на работу в Кирпичный Дом; Хилари пела «Если бы я была дроздом», а снаружи во дворе лаяли друг на друга близнецы, которые общались, как собаки.

Внезапно дверь отворили, и медсестра швырнула мне ночную рубашку и тапочки. «Надевай».

Я чувствовала, как мое сердце начинало биться быстрее, дыхание сбивалось с ритма, меня охватила паника, и я пыталась вспомнить свое секретное правило, которое придумала когда-то, чтобы сохранить рассудок.

Я запрещаю тебе, Истина Мавет, устраивать панику в маленькой закрытой комнате.

Медсестра вернулась с инвалидной коляской в сопровождении еще двух сестер, которые держались немного поодаль. Нужно было снова становиться изобретательной.

«Я сама пойду», — сказала я, и с таким же спокойствием я могла бы сказать, что сама полечу, поеду на гарпии, на летучей мыши, на пластиковой тарелке, на кенгуру, на слове, на блуждающей бактерии.

Какой же изобретательной нужно было быть.

«Можно мне самостоятельно идти?» — сказала я и больше не могла говорить ничего, истратив всю свою невозмутимость; в окружении трех медсестер я шла из Кирпичного Дома по дороге в наблюдательную палату. На процедуру. Проходя мимо «чистого» общего зала, я воспользовалась случаем и бросилась в окно, разбив стекло головой; был слышен звон и треск льда, и курсирующая по океану рыба, почуяв кровь, развернулась и взяла мой след. Спасатели занимались на пляже любовью; воздух был тяжелым от давивших на него тонн света.

По лицу текла кровь. Я сидела в инвалидном кресле, в процедурной. Вскарабкалась на кушетку и закрыла глаза.

«Дайте посмотреть», — сказал доктор Стюард,

вытирая кровь.

Я заплакала. «Вы же обещали. Обещали».

Очнулась я в маленькой запертой комнате, где лежала на полу, на матрасе, под холщовым одеялом, на холщовой простыне. Там, в одиночной палате, я провела много дней.

Я вдыхала запахи комнаты, ходила по магазинам амбре: застарелой мочи, смешанной с бедой (это не был честный резвый запах еще не обученных младенцев, а был запах законсервированных и отверженных взрослых, у которых когда-то было знание, но которых его лишили), затхлой мастики, соломы и соломенной пыли, обделенности солнцем, углов, деревянной двери, в которую колотили руками и ногами вот уже семьдесят лет.

Каждое утро меня отправляли мыться (правило для больных в одиночных палатах), мою комнату быстро убирали (обычно это делала шваброй Кэрол), мою постель застилали, и к тому времени, когда я возвращалась, дрожа от холодного ветра, задувавшего вверх по бетонной лестнице, через затянутые металлической сеткой двери Кирпичного Дома, в ванную комнату без дверей с одиноко торчащими старыми ваннами, покрытыми желтыми пятнами, я была в надлежащем состоянии,

чтобы меня снова заперли на весь день. Мой завтрак состоял из тарелки овсяной каши и одного или двух толстых ломтиков хлеба с желтыми обломками масла, слишком застывшими, чтобы их можно было равномерно намазать, и чашки или эмалированной кружки пойла, называвшегося чаем, с плавающими на поверхности свертками и секретными сообщениями в мусоре на дне. Тем не менее мой завтрак был мне милее самого богатого пира, в первую очередь потому, что означал, что процедуры не будет (с тех пор, как доктор не сдержал своего обещания и меня схватили, чтобы отвести в четвертое отделение, часть дня и ночи я проводила в беспокойных раздумьях, как сделать так, чтобы избежать следующей сессии ЭШТ), а еще мне пришлось придумывать что-то, чтобы следовать собственному правилу никогда не паниковать, если заперта одна в маленькой комнатке.

Завтрак стал моей компанией. Иногда я оставляла половину, чтобы доесть позже утром, когда пациентки, убиравшиеся в Кирпичном Доме, уходили вместе со своей толкотней, шуршанием швабр, песнями и разговорами, и все стихало, если не считать бормотания Зои. Зои спала не в отдельной или групповой палате, а в нише в

конце коридора, как будто она была каким-то жалким порождением самого Кирпичного Дома, принявшим человеческую форму. Она никогда не вставала с кровати. Она была почти бесплотна; когда ее вели в туалет, из-под укутывавшего ее одеяла торчали огромные доисторические кости; лицо ее было похоже на посмертную карту вчерашнего эона земли, на которой были видны геологические разломы и складки, возникшие в результате стихийного бедствия, под воздействием времени или обычного их существования.

Все утро в здании царила тишина, потому что Эсме и Кэтлин иногда выводили на прогулку. Я слушала доносившиеся из парка далекие крики и возгласы и думала, не пора ли насладиться обществом хлеба с маслом. Как-то раз через щель под дверью в палату забежал мышонок, заскочил на мою кровать, перебежал на одежду. Я ахнула от испуга и пошевелилась, и серый дружок убежал обратно под дверь. Но вернулся. И приходил снова и снова. Я назвала его мистером Гриффитсом, потому что он был родом из Кирпичного Дома и сарая для матрасов и, следовательно, цивилизованным мышонком. Насколько цивилизованным? Ну, он не прыгал, как полевая мышь, а бежал, как должны бежать цивилизо-

ванные люди, чтобы, добравшись до финала, узнать, зачем все это было. С мистером Гриффитсом я завязала рискованную дружбу, потому что, хотя он и не хотел рассказывать о своем собственном мире, подкупленный, как и любой человек, обещаниями, заголовками и крошками, остававшимися от завтрака, он слушал мои рассказы о втором отделении, электрошоке и старшей медсестре Бридж, которая всем приказала, чтобы мне не давали книг, письменных принадлежностей и не разговаривали со мной.

Тем не менее одна из медсестер просунула мне журнал через щель в углу, а другая принесла украдкой карандаш. Журнал для женщин жужжал ошеломляющими историями о докторах и медсестрах, малярии и акциях каучуковых компаний, советами о семейной жизни, «Ночными мыслями человека с серыми глазами», рекламой слабительного средства с тонизирующим эффектом «Байл Бинз» и вкладышами с рецептами приготовления идеально симметричных фруктовых желе, хитростями полихромной кулинарии, схемами для вязания и выкройками для шитья. Я компульсивно вчитывалась в рекламные объявления, как будто они содержали секреты жизни и свободы (некоторые обещали запас и

того и другого на целых двадцать восемь дней), проникала в каждую строчку с той же увлеченностью, с какой раньше читала вырезки из газет, которые отец выбирал для туалета. Карандашом писала на стене обрывки стихов, какие могла вспомнить, но в Кирпичном Доме это было равносильно покраске волос краской (настоящая революция в мире моды!), которая «не берется»; материалы были антагонистичны — слова страдали от жестокой нечеткости очертаний или из самозащиты предпочитали не соприкасаться с поверхностью, не оформляясь вовсе.

«Вот тебе вода, тряпка и мыло, — сказала сестра Бридж. — Вытри это все».

Далеко ли до Вавилона?

Без карандаша и журнала, которые были обнаружены, когда у меня в комнате застилали кровать, я декламировала стихи для себя, или пела, или молчала, вспоминая вдруг всё, и боялась. Эсме и Кэтлин вели себя тихо. Эсме, если ее не выводили во двор или парк, целыми днями сидела в углу палаты, натянув ночную рубашку на голову. Она была дикой и бросалась на любого, кто входил, — на любого, кроме старшей медсестры Бридж. Кэтлин тоже была свирепой; в отличие от многих других, к ней каждые две

недели приходил посетитель — ее мать. Раз в две недели Кэтлин одевали в обычную одежду, ей вытирали нос, завязывали волосы лентой, на распухшие, огрубевшие ноги надевали туфли, купленные много лет назад, но сохранявшие свой свежий вид, как смогли бы и ваши башмаки, если бы вы надевали их всего на восемь часов в год. Обычно же Кэтлин стояла неподвижно весь день, иногда внезапно топала ногой, как топает лошадь в загоне, чтобы избавиться от мух и зуда.

Моя кожа разглаживалась по костям, оседая в ложбинках и изгибах, как новая дорога, по которой пустили оживленное движение; появились мешки под глазами, я худела; я обкусала все ногти так, что пропали даже лунулы. Иногда я вспоминала про журнал с его ярким желе, а когда уставала умозрительно карабкаться по рубиновым утесам и склонам и тонуть в прозрачных долинах, я засыпала, натянув холщовое одеяло на голову, просыпалась в половине двенадцатого от звука обеденного фургона, подвозившего к дверям первого отделения тушеное мясо или ростбиф и банки чечевичного или горохового супа.

Потом отпирали и запирали двери второго отделения, отпирали и запирали ворота во двор,

отпирали дверь в Кирпичный Дом, были слышны звуки доставки обеда: каждому по миске тушеного мяса и миске риса, но без хлеба, чтобы накормить мистера Гриффитса или побыть мне компанией на день. Половина четвертого — время чая: две сосиски, хлеб с маслом, красивый кусок бисквитного радужного торта, который я буквально проглатывала; кусочек хлеба с маслом я оставляла на потом, и все это время меня не отпускала мысль, что если меня когда-нибудь выпустят в Большой Мир, несмотря на то, что мне станет доступно головокружительно бесконечное число вкусов, священное место в моей памяти будет занимать лишь вкус хлеба.

Затем женщин из «грязного» зала переводили в Кирпичный Дом — крики, ругательства, грохот кроватей, удары в двери, вопли и ссоры не будут прекращаться всю ночь и даже утро. Я слышала Вайолет, по обыкновению своему перекрикивавшую остальных на более высоких нотах, я знала, что она будет стоять, заткнув уши пальцами, чтобы не слушать голоса, закрыв глаза, чтобы не смотреть на ужасающие черные фигуры с блошиными лицами, которые всю ночь будут ходить туда-сюда, покупая и продавая.

А потом уже я пряталась под одеялом и затыка-

ла уши, потому что в соседнюю палату приводили Берту. Я слышала, как ее тащили по коридору; и когда работники покидали здание, она убегала из комнаты, включала и выключала свет у меня в палате и просовывала через глазок клочки первой страницы газеты «Мейл», на которых могли быть напечатаны «Новости недвижимости и перевозок» и некролог, о мистере Хамфри Ноуке. Я убирала газету под подушку, чтобы изучить позже. Мистер Хамфри Ноук просил не приносить цветы. Ему было сорок, он мужественно встречал жизненные невзгоды, и по нему скорбела его любящая жена; о нем собиралось позаботиться похоронное бюро «Козуэй энд Мид, Лимитед».

Ночи напролет Берта пела одну и ту же песню — «Ближе, мой Господь, к Тебе», и без конца лепетала возбужденно о том, что она называла «шоковой терапией», и вела беседы с доктором, который никогда до этого не обращался к ней, кроме как пожелать доброго утра, и даже не ей самой, а экономно всем обитательницам «чистого» зала разом. Теперь Берта оставалась в комнате весь день и по-прежнему пела свое «Ближе, мой Господь, к Тебе», и хотя быть милосердным на расстоянии легко, гораздо труднее это делать, когда приходится делить коридор с тем, кто про-

сит о жалости круглосуточно. Я жаждала убить Берту, заставить ее замолчать; днями и ночами ее голос жил у меня в ушах, ползал по коже на моем лице и проникал в корни волос. Я сжимала кулаки и кричала ей, чтобы она перестала. Ее голос выпрыгивал на меня из углов палаты и стекал с тусклой лампы в обшарпанной клетке под потолком. Я слышала, как она сплевывала. «Доктор, доктор! — стенала она. — Ближе, мой Господь, к Тебе, ближе к Тебе».

Несколько дней спустя ее увели на процедуру, и она вернулась с улыбкой на лице. «Я была на шоковой терапии», — сказала она умиротворенно.

Ей разрешили вернуться в «чистый» зал, где она оставалась до тех пор, пока снова не заявляли о себе знакомые проявления болезни: включение, выключение света, битье осветительных приборов, разговоры о «шоковой терапии», пение церковного гимна «Ближе, мой Господь, к Тебе».

Это пение приводило в ярость Моди, которая была Господом и не считала допустимым такое обращение. Моди была высокого роста, хорошо сложена, средних лет. У нее были серебристые волосы и низкий, зычный голос. Она была Господом. Если кто-то имел несчастье вызвать у нее раздражение, на того угрожающе устремляла она

свой указующий перст, стоя посередине зала.

«Низвергнута будешь, Кэрол Пейдж, — возвещала она. — Низвергнута будешь. Господь Бог твой говорит с тобой».

«Ты никакой не Господь. Ты старая дура, — пыталась обидеть ее Кэрол. Одновременно поворачиваясь к остальным, то ли утверждала, то ли спрашивала: — Не Господь же?»

Несмотря на заявления о том, что она была взрослая, на «ручательное» кольцо с настоящим «брульянтом» и повадки местного забияки, Кэрол была доверчивым ребенком, полным суеверий, страхов и недоумения. Она боялась слов и не могла с ними совладать. Во время разговора, казалось, она съеживалась, когда слова, порой совсем простые, но которые она не могла понять или произнести, сыпались на нее, набирая скорость, как убийственный камнепад. И Кэрол храбро стояла на месте, не пытаясь убежать, а старалась уловить смысл превосходящих по размеру слов, которые были ей нужны, чтобы заполучить ту весомость, которой природа ее обделила.

Была ли Моди Господом? Кэрол не могла знать наверняка, потому что священник говорил, что, даже и обитая на небесах, Господь повсюду и следит за нами, чтобы вписать наши имена в

свою книгу. Пастору Кэрол верила. После мессы она всегда подходила к нему, чтобы пожать руку, точно так же, как она подходила к посетительницам тетенькам, чтобы услышать слова одобрения и рассказать им о своем «ручательном» кольце и о том, что на ней собираются «обжениться».

«Низвергнута будешь! — громыхала Моди. — Низвергнута будешь, черт тебя подери».

Затем она задирала свою юбку и танцевала канкан по версии второго отделения: это, по ее мнению, не противоречило поведению Господа.

Много недель я провела в заточении в одиночке, спала на полу, обдуваемая холодными сквозняками, временами меня навещал мистер Гриффитс, чтобы получить свой кусочек хлеба с маслом. Теперь мне выдали одеяла; мне нравилось быть одной, уютно укутавшись, и думать о мистере Гриффитсе и о мистере Хамфри Ноуке. Кем он был? Почему умер? О чем беседовали черви, когда оценивали его мертвое лицо?

Ко мне пришел посетитель. Гадая, кто бы это мог быть, я надела выданную мне помятую одежду, и медсестра провела меня в амбулаторию, где среди флаконов, образцов, масок и халатов кто-то меня ждал. Это была Юнис. Прежде я виделась с ней всего пару раз, она хотела мне помочь. Я раз-

рыдалась. Я сидела на маленьком, твердом стуле, похожем на школьные. Медсестра стояла рядом.

«Мне сказали, что к вам не пускают посетителей, — начала Юнис, — но я умоляла, и меня пустили на несколько минут. Вам что-нибудь нужно?»

«Хамфри Ноук умер, — прошептала я. — А я не хотела, чтобы он умирал».

Она выглядела озадаченной. Но не сказала: «Крепитесь». Она была одета в черное.

«Хамфри Ноук умер», — повторила я.

«Я помню, вам он нравился», — быстро ответила она и вынула из своей сумки фотокарточку.

«Это вам. Домик Генри Джеймса в Рае».

«Вам пора», — сказала медсестра. Мы попрощались. С меня сняли одежду, и я вернулась в грязную, пропахшую кислым комнату, зажав в руках крохотный снимок дома Генри Джеймса, чувствуя его тепло в своей ладони.

31

Однажды утром мне выдали мою одежду и велели вставать. Ткань на мне трепыхалась, облепляла мои кости, словно палатка, защищающая от снежной бури тела мертвых исследователей, как будто бы окоченевшим мертвецам может потребоваться такое же укрытие от холода, какое требуется человеку, чтобы спрятать атрибуты, указывающие на принадлежность к его виду.

Пробыв несколько недель в маленькой комнате с закрытыми ставнями, я привыкала к резкому, зернистому дневному свету цвета серы и не могла прекратить моргать; вместе с другими пациентками из «грязного» зала медсестра вывела меня в парк, где я сидела на траве и смотрела в небо на приговоренные облака, идущие по доске из света, чтобы упасть в море. Внезапно ворота парка отворились, и кто-то вошел; это был врач, которого я никогда раньше не видела, низкорослый, с лицом, похожим на обезьянье, головой, наклоненной набок и в слишком длинном белом халате. Я смотрела на него не отрываясь, как и все остальные, потому что до этого ни один доктор в парк не заглядывал. Разве он не знал, что врачи

не могут приходить поболтать с тревожными пациентами, что, даже если главная медсестра Гласс и одобрит — а она не одобрит — его одинокую экскурсию по отделению, его непременно окружит толпа женщин, молящих о том, чтобы им разрешили вернуться домой, знавших при этом, что они никому не нужны и идти им некуда, тем не менее продолжавших спрашивать: «Когда меня выпишут, когда я смогу выбраться из этой дыры?»

Странный доктор медленно зашел в парк, и его моментально окружили пациентки, заговорили с ним, начали хватать за руки, и было удивительно видеть, как он пожимает руки в ответ, что-то говорит им и смеется. Он не делал замечаний, говоря: «Опустите подол», когда кто-то из пациенток задирал платье, чтобы что-то ему показать, и не спрашивал, не были ли переброшены через забор туфли или смыты в унитаз чулки, которые должны были быть на ногах. Нет, он говорил и слушал с уважением, он не выглядел испуганным или так, как будто торопился или беспокоился о том, что главная медсестра Гласс обнаружит, что он гуляет без сопровождения по парку отделения для тревожных пациентов, которые теперь толпятся вокруг него, как дети вокруг продавца

мороженого в жаркий день или как жители отдаленных поселений в ожидании новостей.

«Здравствуйте, — сказал он мне. — Что вы скажете на то, чтобы я показал вам несколько картинок? Расскажете мне о них? Мне говорили, что вы себя довольно непослушно вели».

Я заплакала. Получается, все, даже новый врач, называли меня непослушной, как будто бы я была ребенком, опозорившим своих родителей. Я убежала от него вверх по холму и лежала на траве, обдумывая, что за проступок это мог быть, и рассматривая со всех сторон поддельное суждение, которым все, даже я сама, казалось, дорожили и с которым никто не мог расстаться, как если бы оно было проклятым драгоценным камнем у меня в руке.

За ужином Кэрол рассказала, что это был доктор Трейси. «Я показала ему свое ручательное кольцо», — заявила она.

Несколько дней спустя доктор Стюард вызвал меня на разговор в амбулаторной.

«Нам не нравится, что вы здесь задержались, — сказал он. — Есть одна операция, после которой люди просто на глазах меняются, напряженность снижается, и мы решили, что для вас будет наилучшим вариантом, если вам ее сделают.

Кто-то из ваших родителей должен подписать необходимые бумаги. Мы пригласили для беседы вашу мать». В груди глухо застучало стаккато, и я, казалось, начала выпадать из себя, как падает дерево, которое, простояв много лет в заповедной пещере личного пространства, вдруг срублено, но оставляет за собой оболочку привычной жизни, некую невидимую форму, противостоящую натиску алчных воздушных потоков.

Ну да, подумала я. Меня как будто упаковали в лед, я дрожала.

Глаза доктора Стюарда, похожие на морских котиков в круглом бассейне, бегали сверху вниз и обратно.

«Вы станете совсем другим человеком, — повторил он. — Внутреннее напряженность снизится».

Его кадык стал похож на затор в горле. Лицо было серым. «Немецкий концлагерь», — подумала я, и тут у меня перед глазами, как свет в комнате, включилось лицо мисс Док, учительницы истории, которая в свободное время занималась плетением из волокон рафии корзин и подставок для чайников, и неоновой рекламой зажглось название «Европа в плавильном котле». Она радостно улыбнулась, влила в емкость жидкие континенты и острова и начала перемешивать,

пока доктор Стюард, главная медсестра Гласс, старшая медсестра Бридж готовили новую форму для отливки.

«Что там делают?» — спросила я.

«Это, конечно же, операция на мозге», — ответил доктор Стюард.

Конечно же.

Я вспомнила иллюстрацию с изображением мозга: он был похож на очищенный грецкий орех, а его области были подписаны крупным шрифтом «Концентрация», «Память», «Эмоции», словно названия городов в неведомой аллегорической стране.

«Хочу домой», — сказала я. Я не имела в виду то место, где жили мои родители, или какое-либо другое здание из дерева-камня-кирпича. Человеком я себя больше не ощущала. Я знала, что теперь мне придется искать убежище в земляной норе, или в паутине под высоким потолком, или в безопасном гнезде между двумя камнями на открытом берегу, о который бьется море. Сильное чувство одиночества, охватившее меня из-за слов доктора, не давало мне нигде найти приют, не за что было уцепиться летучей мышью, не было моего чертополоха, чтобы сплести молочно-белую паутину.

«Внутренняя напряженность снизится», — повторил доктор Стюард официальным тоном, как будто объявляя об отправлении поезда.

И улыбнулся: «Это же лучше, чем все время тут оставаться? Идите и ведите себя хорошо».

* * *

После того, как мама подписала согласие на операцию и начались приготовления, старшая медсестра Бридж стала проявлять ко мне доброту.

«Вот когда ты изменишься, — говорила она, — никто и догадаться не сможет, что ты была такая, какая была. Операцию уже сделали куче народа, и еще целая куча на очереди. Я знаю одну женщину, которая пробыла здесь двадцать лет, а теперь — что бы ты думала — продает шляпки в одном из модных магазинов в городе. А ведь ее тоже в одиночке держали, как тебя».

«Не думаю, что я могла бы продавать шляпы», — ответила я с сомнением.

«Да ты же и представить не можешь, чем сможешь заниматься. И не заметишь, как сможешь выписаться. Вместо того чтобы провести в больнице всю жизнь, дорогуша, найдешь хорошую работу в магазине или, может быть, в офисе и

совершенно не будешь жалеть, что тебе сделали лоботомию».

Теперь, когда моя личность была обречена, как ветхое жилье, начались работы по планированию сноса. Медсестрам разрешили снова разговаривать со мной, и они — и старшая медсестра Бридж, и даже главная медсестра Гласс — въехали в мою «новую» личность, как иммигранты, которые расположились на новой территории и заявляют о своих притязаниях на нее.

Перспектива завладеть чужим никем не тронутым умом, как долей во внезапно свалившемся на тебя богатстве, заставляла их беспорядочно, возбужденно суетиться, строить планы и фантазировать, так что день за днем мне доверяли свои мысли и доброжелательно обращались со мной, неизменно начиная предложения со слов: «Вот когда ты изменишься…»

На все эти приготовления я смотрела отстраненно, как будто лежала на смертном одре, наблюдая за вторжением в свой дом и похищением своих богатств и видя через полуоткрытую дверь в соседнюю комнату-гроб — мою последнюю нору, белую паутину, гнездо между двух камней.

Надвигающаяся операция стала моим кошма-

ром. Просыпаясь по утрам, я представляла, что сегодня меня заберут, обреют мне голову, накачают успокоительными, отправят в больницу в город, а когда я открою глаза, голова у меня будет перевязана и на каждом виске появится шрам или шов через всю макушку, изогнутый, как гало: так воры, надев перчатки, предъявив разрешение и проявляя осторожность, вошли на склад, вежливо его обыскали, а затем спокойно и без смущения покинули помещение, как служащие, снимающие показания счетчиков, сборщики мебели или ремонтные мастера, присланные обновить обои в комнате наверху.

А что же насчет моей «старой» личности? Получив предупреждение о приближении смерти, уползет ли она умирать в укромном месте, как делают дикие звери? Или растечется где-то невидимым пятном? Или, выброшенная, затаится и будет дожидаться часа возмездия? Зачем все эти воры, похожие на коммунальных служащих, которые, не зная, что делают, уносят незаполненные карточки, или носильщиков, которые ответственно пыхтят под тяжестью воображаемой мебели?

Я проснусь и не буду себе хозяйкой. Я видела, что случилось с другими, как они стали мочиться

в кровать, как их лица растеряли четкость выражения и заполнились улыбками, потерявшими связь с реальностью, никому ненужными. Меня «переучат» — вот слово, за которым прячут лоботомированных пациентов. Восстановят. Исправят, перекроив мой разум по лекалам этого мира. Медсестры будут брать меня на прогулку в сад, на голове у меня будет повязан шарф с узлом-бабочкой на макушке, как будто прячу я всего лишь бигуди, но никого — и меньше всего меня саму — этим не обмануть: это будет камуфляж лоботомированного, коего у них в достатке, веселенькая реклама того, как изменить человека до неузнаваемости. Все будут проявлять ко мне интерес, разговаривать со мной и какое-то время проявлять терпение, как будто бы я стала механической безделушкой вроде миниатюрного пианино или детского набора для печати, играясь с которой так удобно выразить или запечатлеть малую часть себя, пока не постигнет разочарование, какое испытывает ребенок, когда не может втиснуть всего себя в ограниченный мир своей игрушки, или какое переживают взрослые, когда ребенок, которого они считали своей забавой, превращается в опасную самостоятельную реальность с собственной индивидуальностью, как

если бы миниатюрное пианино по собственному хотению взыграло симфониями.

Немного пройдет времени, прежде чем я снова стану их раздражать, приводить в исступление: ведь большая часть нашей жизни — это попытка сохранить свое «я», аннексировав и заняв обиталище других. В конце концов, они обнаружат, что не могут влить в меня, как в подготовленную форму, свое представление о моей изменившейся личности, потому что форма-то, вне всякого сомнения, останется прежней. Или нет? Что же такое они украдут у меня из головы — эти осторожные воры? Я знала, отсюда не сбежать, я звала на помощь, но была замурована в стене, пока доктор Портман не услышал меня.

Однажды в пятницу он шел через отделение, и хотя я ни разу не разговаривала с ним с тех пор, как попрощалась девять лет назад, когда покидала четвертое отделение, я внезапно подбежала к нему и потянула за рукав, и, не обращая внимания на испуганный взгляд главной медсестры, заговорила с ним.

«А вы что думаете?» — спросила я.

Он обернулся, глядя на меня вопросительно. Обычно пациенты не обращались к нему во время обходов: любые препятствия на его пути

вызывали у персонала беспокойство, как если бы бандиты остановили важный поезд, груженный слитками золота. По обыкновению своему он спешил пройти через отделение, лишь изредка кивая в знак приветствия тем, кого узнавал, не останавливаясь на промежуточных станциях, вывешивал флажок в знак того, что идет мимо.

В день, когда я заговорила с ним, он остановился в изумлении, а благоговевшая перед ним главная медсестра Гласс стала держать оборону, ограждая пространство вокруг него.

«Насчет чего? — спросил он резко. И добавил уже более мягким тоном: — Вы о чем, Истина?»

Поскольку сама я днями и ночами только и думала о том, что меня ждет, мне казалось странным, что и другие не занимались тем же; хотя работники больницы и обсуждали мое «будущее» (напоминая детей, жаждущих увидеть свои рождественские подарки), они почти не задумывались о самой операции, о ее истинном значении и о том, что согласно рекомендациям врачей, с их одобрения и согласия моих родителей той меня, которая почти тридцать лет боролась со временем и, как колония муравьев, уносила в гнездо, в свое главное укрытие, по трудным, медленно запоминающимся тропкам

поверженные секунды, минуты и часы, эту меня должны будут атаковать, а, возможно, и снести.

«Так о чем вы, Истина?» — повторил доктор Портман.

«Лоботомия», — ответила я и почувствовала, как меня пробирает ужас оттого, что слово, которого я так боялась и которое прятала, словно ядовитого жука в коробке, вырвалось у меня из головы.

Доктор Портман ответил не раздумывая. «Нет, — сказал он, — я не хочу, чтобы вы менялись. Мне бы хотелось, чтобы вы остались такой, какая есть».

Я поверила ему. Доверяла ему. Он сказал, что еще не поздно отменить приготовления.

Той ночью в своей комнатке я плакала и искала мистера Гриффитса, чтобы рассказать ему, как была счастлива получить отсрочку, но мистер Гриффитс не пришел навестить меня. Возможно, ему показалось, что в этот раз в комнате было слишком холодно, и он остался в тепле сарая с матрасами. Моему чувству мелодраматизма льстило, что, в лучших традициях всех ожидающих приговора в застенках у меня был свой мышонок, которому можно было поведать свои секреты.

32

Несколько дней спустя доктор Трейс подошел ко мне в парке, где я мирно сидела, безразличная ко времени или новому содержимому, как пустой зеленый флакон для лекарственного препарата. Завидев его, я радостно подумала, неужели он собирается показать мне картинки? Мое воображение рисовало, как мои рассказы о них спасут меня от всех операций на мозге, даже от того, чтобы меня тайком, под покровом ночи, разбудили и увели куда-то, пока нет рядом доктора Портмана, который мог бы меня спасти. И все же сама я боялась заговорить о них, так сильно я на них полагалась, как стесняются упоминать на публике имя человека, в которого тайно влюблен. Я ждала, пока доктор Трейс не заговорит о них первым.

«Вам нельзя оставаться в этом отделении, — сказал он. — Мы назначаем вам инсулин. А потом посмотрим».

О картинках он не сказал ни слова, и я почувствовала, как меня начинает пробирать страх, потому что инсулин нужен, чтобы подготовить пациента к лоботомии — откормить его на убой;

а ведь они же говорили, что я слишком худая. Для чего слишком худая? Они решили действовать внезапно, без предупреждения, чтобы однажды, проснувшись, я подошла к двери своего «я» и обнаружила там судебных приставов, как будто бы по праву изымающих мою мебель, и у меня не было бы никаких прав, чтобы им помешать.

«Ах, да, — доктор Трейс добавил, направляясь к воротам в парк, — мне же надо показать вам картинки».

Я улыбнулась. Да уж, подумала я, это наш с вами секрет, доктор Трейс.

Несколькими днями позже я опять сидела в парке, думая о картинках и придумывая, как расскажу тысячу и одну сказку, чтобы спасти свой разум и свои мечты от усекновения, когда за мной пришла медсестра.

«Вас переводят в четвертое отделение, — сказала она. — Вместе со Сьюзан».

Итак, мы вернулись в четвертое, нас отвели в общий зал и велели сидеть у очага и ждать, местные уступили нам место на длинном кожаном диване, потому что мы казались им замерзшими.

«Почему ты выглядишь такой напуганной?» — спрашивали меня.

А я даже не подозревала, что моим постоянным выражением лица стало выражение испуга. Я съеживалась, когда со мной заговаривали, и попыталась спрятаться в углу, когда в комнату вошла старшая медсестра Хани. Ее суровое выражение лица пугало меня. Все вокруг пугало меня. Я не переставала дрожать, как будто всю ночь провела на улице без одежды.

«Тебя никто не укусит, — сказала старшая медсестра Хани самым дружелюбным тоном, на какой была способна. — Устраивайся у огня и согревайся, поговори с другими пациентками».

Было странно находиться среди людей, которые могли поддерживать беседу, и сначала я не могла вспомнить, каково это — произносить фразы вслух, вступать в разговор, перебрасываться словами, вновь освещенными смыслом. И где были все эти женщины из второго отделения; где была Эдит, берущая меня за руку и говорящая: «Не обращай внимания и не бойся; Эдит позаботится о тебе».

Обитательницы четвертого отделения казались такими уверенными в себе, сильными, полными планов, с ястребиным ясным взором, и на мгновение мне захотелось вернуться обратно к Моди, и Кэрол, и даме Мэри-Маргарет, и Хилари,

и Бренде, которые не смотрели бы на тебя с удивлением, если ты предпочла вдруг не отвечать на их вопросы или если сказала что-то невпопад. Во втором отделении никто не удивлялся тому, как соседи себя вели, что говорили или почему молчали, потому что на это у них были естественные права, потому что таковы были обычаи этого иностранного государства. Здесь же казалось, что пациентки тебя осуждали, упражнялись в демонстрации принятых в цивилизованном мире форм выражения ужаса, боли, удовольствия — прятали под глазурью глубинные, личные чувства. А еще они говорили о будущем, как о чем-то осязаемом и близком, вроде спелой груши с соседского дерева, ветви которого перевесились через забор; я же давным-давно знала, что в будущем поселились черви, которые уничтожили сердцевину его плодов. Вера могла быть хорошим соседом и разрешать своим деревьям перевешивать ветви через забор, но должен был быть и кто-то, кто опрыскивал бы их мышьяком.

* * *

Через некоторое время я покинула свой угол и подошла к очагу, чтобы погреть руки. Я была благодарна за огонь. И теперь я почувствовала

радость, оттого что находилась в четвертом отделении, где миссис Пиллинг и миссис Эверетт искали помощников, чтобы накрыть на стол, и беспокоились обо всем: о блеске столового серебра, о том, чтобы сахарницы были наполнены, и о том, чтобы для пациенток в наблюдательной палате были сварены яйца. Раз или два приходила миссис Пиллинг с серьезным и сосредоточенным выражением лица, чтобы посоветоваться с медсестрой по важным вопросам домохозяйства, например стоит ли подавать конфитюр, когда так много не съедают, или джем, когда его почти не осталось.

«Ты из какого отделения?» — спрашивают меня.

Эта информация казалась слишком личной, как запах, возраст, доход, мечты, месть. Я таинственно улыбалась. Я из тех, что живут в Кирпичном Доме, кого вы видите в туалете, когда нас приводят на процедуру, в парке, во дворе — хотя нет, больше нет, да и ЭШТ мне не назначают.

Я рассмеялась, и одна из пациенток, сидевших у огня, сказала другой: «Смотри, смеется».

Моя кровать находилась в наблюдательной палате, в первый раз в которой я спала девять лет назад, и хотя мне было страшно при виде проце-

дурной комнаты в конце коридора, я чувствовала себя в достаточной безопасности, поскольку мне назначили инсулин, и я здраво рассудила, если кто-то из них убивает тебя ядами, другие вряд ли попытаются застрелить. Но мы со Сьюзан заболели, и нас уложили в постель на соседних кроватях; много дней я лежала, наблюдая, как другие встают, работают и готовятся к процедуре; и вся съеживалась под одеялом, когда во время обхода главная медсестра Гласс смотрела на меня взглядом садовника, увидевшего сорняк посреди прекрасной клумбы.

«Почему вы в постели?» — спросила она меня, когда увидела впервые.

Старшая медсестра Хани объяснила ей, в чем дело, улыбнулась мне и сказала: «Мы выкатим тебя на веранду на солнышко».

Так день за днем я наблюдала, как медсестры снуют между отделениями и своим корпусом, как пациенты вывешивают вещи сушиться на натянутой между тополями веревке — и это была их собственная одежда, а не толстые, полосатые, фланелевые штаны, грубые, казенные носки и ночные рубашки, словно снятые с пугала; смотрела на то, как работающие пациентки возвращались из дому с вкусными гостинцами,

оставшимися после обеда: курагой и кусками пирога с джемом, которые выставлялись на стол посреди столовой как десерт к чаю; на то, как проезжали посвиненок и грузовики с углем, а человек с резиновым вантузом прочищал затор, а сын доктора Портмана катался по гравийной дорожке на своем новом велосипеде; я смотрела на цветы в саду, на водосборы, серебристую цинерарию и бархатцы, и мне казалось, что до моего носа доносились лоскуты их резкого аромата. Кто-то дал мне журнал; я лениво переворачивала страницы, безразлично пролистывала соблазнительное желе и лежащие на противне радужные бисквитные коржи под белой глазуревой коркой.

Сьюзан лежала на соседней кровати. Не разговаривала. Иногда улыбалась и смотрела растерянно, иногда кашляла. Я отвернулась от нее, потому что она напомнила мне о втором отделении и, казалось, была нарочно помещена рядом со мной как воспоминание, которое я гнала от себя, но которое намеревалось, хоть бы и в человеческом обличье, быть моим вечным соседом.

И все же, когда я видела, как обитательниц второго отделения приводили по утрам на процедуру, меня переполняли грусть и чувство вины;

одетые в знакомые красные фланелевые халаты и серые носки, они прыгали и скакали вопреки попыткам медсестер их сдержать. Они не были мне чужими: я знала их и знала, как с ними общаться, и мне казалось, что, покинув второе отделение, я их предала. Когда они узнавали меня и заговаривали со мной, я испытывала неукротимый восторг и одновременно благоговение, как будто ко мне обратился голос из-за облаков.

Как-то утром я увидела Берту в сопровождении трех медсестер.

«Здравствуй», — сказала я робко.

«Чтоб меня, здравствуй! — воскликнула она. — А я тут на процедуру пришла». И она стала вырываться, а медсестры только усилили хватку и утащили ее в процедурную.

Несколько дней спустя нас со Сьюзан повезли в город на рентген, и у нее обнаружили туберкулез; ее поместили в одну из маленьких палат рядом с Маргарет и Евой, которая проснулась однажды утром, содрогнулась рвотой и умерла; ее мать, невысокая женщина с кривыми ногами и в сером пальто, пришла за ее вещами.

33

«Готовы к уколу?» — спросили они.

После инъекции, которую нам делали ранним утром, меня и трех других пациенток укладывали спать в палате, которую мы называли птичником; это было помещение, напоминавшее курятник или вольер из-за того, что верхняя половина двух его стен была сделана из металлической сетки, а одно единственное окошко пропускало недостаточно свежего воздуха, и ранним утром, после того как всю ночь комната была заполнена спящими людьми, в ней отчетливо ощущался аромат фермы. Мы сидели, подоткнув подо спину подушки, и согласно выданным инструкциям старались не уснуть, подбадривая друг друга разговорами, занимаясь шитьем или вязанием, пока постепенно в глазах не начинало двоиться, а голова не затуманивалась.

И в этот момент я всегда оказывалась в царстве снегов и льдов, а лицо моей матери, похожее на лицо ведьмы, у которой нос встречался с подбородком, предостерегало меня никогда не засыпать в сугробах: это самый легкий способ сдаться. Не ложись спать в сугробах! Поэтому я

продиралась через наносы, в башмаки мои набился снег, одежда моя и вмятины на моем теле, подобно котловинам и лощинам, тоже все были заполнены снегом; ослепляющая белизна становилась все более белой, покуда сама не могла больше вынести собственную яркость, и тогда она внезапно превращалась в смертоносно-черный бархат, подобно любви, которая, надорвавшись, становится ненавистью, или темной стороне нашей сущности, которая неожиданно являет себя нам в тот момент, когда мы уверены, что упрятали ее куда-то очень глубоко.

Тяжесть снежного покрова редела, дробясь на маленькие снежинки — порхающие иголки или коготки крохотных белых птиц, вонзающиеся в кожу на моем лице. Я очнулась, мне в рот через трубку вливали глюкозу.

Затем мы завтракали и шли с медсестрой в отделение трудотерапии, которое разместили на отремонтированной веранде, откуда открывался вид на теннисные корты недалеко от центрального входа в больницу. Комнату заполнял свет восходящего солнца, где-то там мраморной синевой раскинулось море, прокалываемое лучами света. Я сидела и впитывала тепло цвета бледного золота, цвета тростника, из которого пациентки

плели корзины и колыбели. Некоторые другие ткали шарфы ярких расцветок на миниатюрных станках или целые полотна на станках побольше, со сложным внутренним устройством, как если бы для их сбора использовали все детали детского конструктора. А еще из мягкого войлока делали игрушки: уточек, кроликов, мишек — и из самых лучших побуждений придавали им человеческие эмоции и надевали на них шляпы, пальто и фартуки.

«Вы бы чем хотели заняться?» — спросила эрготерапевт, молодая женщина в желтой спецовке. У пациентов только что был утренний чай, и она охраняла коробку с печеньем, чтобы не допустить самовольно добытых вторых порций. «Можно вот шарфы вязать или плести корзины. Может, игрушку сошьете? Или наволочку? Или вышивать крестиком будете?»

Я не хотела делать ничего. Я хотела сидеть и наблюдать за солнечными лучами, тенями, бегавшими за входившими и выходившими людьми, и волокном света, вплетающимся в теплые нити на ткацких станках.

«Даже не знаю», — ответила я.

И вот врач дала мне деревянную основу и несколько прутьев, заблаговременно замочен-

ных в воде, и я думаю, было бы очень грустно просто сидеть и переплетать стебли, продевая их между другими стеблями, если бы не привезли зубную пасту — полную канистру казенной зубной пасты — и ящики с тюбиками, которые нужно было наполнить этой субстанцией идеального серого цвета и консистенции теста из помета чаек.

Так что я наполняла тюбики, закатывала им концы, чтобы не протекали, и была благодарна за то, что, хотя события завтрашнего дня, обитательницы второго отделения, мои собственные страхи и искажения реальности были от меня скрыты, у меня было умение, которое могло бы помочь «занять свое место в мире»: я умела расфасовывать зубную пасту по тюбикам!

Иногда вместе с тремя другими пациентками, которым назначили инсулиновую терапию, мы выбирались за пределы веранды и играли в теннис на корте, а однажды я увидела, что доктор Стюард наблюдал за нами из окна своего кабинета, и подумала: вот он смотрит на меня и удивляется, почему не перевел меня раньше из второго отделения; и размышляет, что, возможно, там остались и другие, для кого не осталось никакой надежды, которых готовили к «измене-

нию» и «снижению напряженности», но которым все еще можно помочь, не разоряя их мозг и не спиливая самые мощные деревья в лесу.

Через несколько недель, когда курс лечения был завершен и предупредительность персонала (как и запас золотистых ячменных леденцов) растаяла, как закатный свет, каждая из нас: Нола, Мэдж, Ева и я — снова вернулась в свое темное заточение, как возвращаются кролики в свои норы после дневных прогулок среди репы. Казалось, мы стали счастливее и упитаннее. Нола вернулась домой к мужу и малышу. Мэдж, у которой обнаружили туберкулез, поместили в маленькую палату рядом со Сьюзан. Ева, чей дом находился на Северном острове, упаковала свои многочисленные чемоданы с модной одеждой и отбыла; провожал ее сам доктор Портман, который с провинциальным уважением относился к обитателям иных стран, независимо от того, проживали ли они за много миль отсюда, за морями, горами и равнинами, или в своих мечтах, таких же отдаленных.

А меня перевели в «птичник», где спали «хроники» — те, кто в конечном счете попадал в первое отделение или, если становился агрессивным и отказывался сотрудничать, во второе. И снова

услышала я стенания и скрежет окружавшего меня льда и увидела лица вмерзших в него людей, глядевших на меня неподвижным, обескровленным взглядом.

Вы удивитесь, айсберги в курятнике? Да, а еще ледники, и градины, и снег, и блестящий след ползущих по обочине улиток, и солнце, поджаривающее пшеницу до треска.

Меня передернуло, когда объявили: «В птичник». Тебя переселяют в «птичник». Сквозь лед я почувствовала запах клетки с хорьками, подвешенной между индюшками и бентамками в темном углу тормозного вагона, замыкающего поезд, медленно тянущийся по ржавым рельсам, проложенным по опустевшим руслам пересохших рек, усыпанным серыми осколками овечьих и коровьих черепов; я ощущала запахи скотного двора, и смерти, и ястребов, и речных камней, и старых ветвей, облепленных тростником и снежной травой.

Еще чувствовала запах дохлой лошади, у которой не было хозяина; к ней подошли, ее осмотрели, потыкали во вздутое брюхо и морду, поцелованную тленом и обжитую мухами, ее оставили, о ней написали письмо в ответственный совет и в газету; ночью пришел человек и

закопал ее, но никто так и не заявил о своих правах на нее, потому что смерть не принадлежит никому.

Проходя сквозь лед, запахи замерзали и исчезали; два путника в черных капюшонах и в теннисных туфлях шли в ногу, а облака, похожие на слежавшиеся сугробы, суетились на небе, обратив лицо к солнцу.

Я спала на кровати в углу. По соседству спала Джози. Это была высокая темноволосая женщина, она ходила взад-вперед, напевая «А-помпи, а-помпи, а-помпи»; во время войны она познакомилась с одним морским пехотинцем из Америки и вышла за него замуж, он обещал «послать за ней», когда вернется в Соединенные Штаты. Напротив меня спала Дорис, крохотная женщина, которой нужно было помогать забираться в постель, так высоко ей было карабкаться, и нужно было быть очень осторожным, чтобы она не подумала, что ты на нее пялишься.

«Вот в кукольном домике я могла бы жить», — повторяла она с горечью. Ее шитье было самым аккуратным из всех, что я видела, как у мастеров волшебного маленького народца, которые ночью забираются в цветы и вышивают на лепестках или, усевшись на стебельках травы, вяжут, нани-

зывая на пряжу капли росы, или как у злобных человечков, которые, притаившись в наших глазах, задергивают занавески и украдкой создают гобелены, орудуя отравленной иголкой, или устраивают свою мастерскую в наших ушах и плетут кружево, переплетая нити громыхающим децибелами челноком. Снова и снова, глядя на Дорис и других феечек и пациентов, которые напоминали ведьм или казались обиталищем драконов, я ощущала себя свидетелем того, как мог бы зародиться фольклор; чувствовалось, что такие люди, для которых единственным домом во всем мире была психиатрическая больница, могли бы решить все свои проблемы, если бы на самом деле жили в бутонах, или за хрустальной завесой человеческого глаза, или в хижине в дремучем лесу с ядовитым терновником в саду и одноглазым котом, сторожащим входную дверь.

Во время приема пищи я все еще испытывала страхи. Я сидела рядом с мисс Уоллес, деликатной седовласой женщиной, которая была учительницей музыки, и бывало, что разговаривала с нами, как будто бы мы были детьми, не выучившими гаммы. Обычно она была в депрессии, и по утрам у нее всегда были красные от слез глаза, потому что ночью в ее палате ей не давал покоя радар и

никто, ни ее родственники, ни персонал больницы, не верил ей.

Ей повторяли, что это все ее воображение, ее болезнь.

Вынужденная проводить ночи в «птичнике», который на самом деле был местом, куда сплавляли чудаков и парий, я снова погрузилась в уныние и безысходность. Куда бы я ни пошла, запах человеческого компоста, казалось, преследовал меня, выделял меня и других обитательниц «птичника» на фоне остальных пациенток отделения. Мне было стыдно оттого, что на ночь меня запирали, а обитательницам двух спальных палат снизу разрешалось приходить и уходить, когда им хотелось, чтобы сделать себе молочный напиток на огне или перекусить кусочком хлеба с маслом из тех, что остались после дневных трапез и были выложены миссис Пиллинг на тарелке на буфете, или дозволялось сидеть в общем зале с открытой дверью, вязать, разговаривать или слушать радио до девяти часов вечера. Несколько недель терапии казались мне полностью лишенными смысла, раз мне и дальше приходилось жить унылой жизнью осужденных. Иногда посреди ночи, когда я закрывала глаза и начинала принюхиваться и прислушиваться, я чувствова-

ла, что это снова был Трикрофт, отделение номер четыреста пятьдесят один.

Мне угрожали, кричали мне в уши, лезли в лицо своими раздувшимися физиономиями с глазами из ртути, говорили:

«Снова загремит во вторую».

Пока как-то утром доктор Стюард не послал за мной.

«Я вот думаю, вы могли бы утром и днем готовить врачам чай?»

«О-о-о, — протянула я, — ой».

«Я выдал вам разрешение на полную свободу передвижения по территории больницы и хочу, чтобы завтра утром вы пришли в кабинет рядом с амбулаторной, где мы пьем чай. Эрготерапевт вам все покажет. Приятно сменить обстановку и выбраться из палаты?»

Затем, оглядевшись и отчетливо произнося слова, как будто для того, чтобы любой свидетель мог повторить их на суде в будущем, добавил серьезно, снимая с себя ответственность: «Это идея доктора Трейса. Он вам доверяет».

Разговоры о доверии были непременным атрибутом; когда врач спрашивал таким тоном, как будто от этого зависела его жизнь: «Вы мне доверяете? Сможете мне доверять?» — и ожидал,

что вы с готовностью и без возражений скажете: «Да, да», а вы знали, что у него едва было время доверять самому себе в той рабочей кутерьме и состоянии усталости, которые сопровождали ежедневные и еженощные попытки решить задачку с человеческими переменными, которую не разбирали на уроках математики: если состояние здоровья тысячи женщин зависит от полутора врачей, сколько времени в год нужно уделить каждой из них, дайте ответ в минутах; при условии, что яйца стоят по три шиллинга за дюжину и их варят последовательно в кипящей воде в течение трех минут, какова будет сдача с пяти шиллингов? Достаточно, чтобы купить чашку кофе.

«Доктор Трейс вам доверяет», — повторил доктор Стюард.

Вспоминая доктора Трейса и его картинки, и сказки, которые я собиралась рассказать, чтобы спасти себя, я чувствовала тоску, которая приходит, когда кто-то, находившийся долгое время на грани жизни и смерти, наконец покидает этот мир, и все письма, адресованные ему, начинают возвращаться нераспечатанными. Если бы только тогда в парке доктор Трейс показал мне эти картинки!

В утро, когда я в первый раз выполняла свое задание, я чувствовала столько гордости, забирая ключи с крючка в кабинете доктора Стюарда (и сопротивляясь искушению изучить папки с документами), посещая магазины, чтобы купить масло и джем, и заходя за прилавок, чтобы выбрать нужный, принося сконы и хлеб из большой кухни, стоя в одиночестве в маленькой комнате, наблюдая за часами, растапливая масло и торопливо намазывая его на треугольные куски свежего теплого хлеба с обрезанной корочкой, чтобы сделать сэндвичи. В десять зашумел бойлер, и я заварила чай. Пришел доктор Трейс, еще ниже ростом, чем я помнила, однако голова его так и была сдвинута на бок. Глядя на его честное усталое лицо, я подумала вдруг, что его ноги обуты в домашние тапочки, но нет, это были начищенные коричневые туфли; и почему-то казалось уместным, если бы он вдруг ходил вдоль грядок с картофелем.

Ну конечно же. Он был мне как дедушка; на лбу кожа у него была натянута, как будто все, что хранилось в голове, было высушено на солнце, очищено от ненужных стеблей и мертвых листьев и плотно утрамбовано. Нижняя половина лица была в складках, уголки рта опущены, как

будто он собирался заплакать, и выражение открытости, как и подобает возрасту, было одинаковым во сне и во время бодрствования, а не как у юных, чья сила и гордость уступают беспомощной невинности в момент, когда приходит сон.

Он улыбнулся. Он был моим дедушкой, и в карманах у него наверняка были полосатые мятные леденцы.

«Вы сделали нам чай», — сказал он.

Потом я вспомнила про картинки и ждала, что он о них заговорит, но он молчал, и с каждой секундой выглядел все старше и старше и, возможно, вообще мог умереть здесь, за чаем, так ничего мне не показав.

Вошел доктор Стюард. Когда он увидел меня, на лице его сначала появились выражение тревоги, а затем улыбка; казалось, он втайне задавался вопросом, правильно ли поступил, позволив мне приходить аж к главному входу и разрешив свободно ходить по больнице.

Подходили остальные врачи. Я должна была остаться, чтобы прислуживать во время чаепития, и я стояла у окна лицом к раковине, ополаскивая чашки и слушая разговоры богов, которые, как казалось, только и произносили, что «Доброе утро», «Как вы», «Сегодня состояние

получше», «Для результата нужно время», «Напряженность снизится».

Напряженность снизится.

Они разговаривали друг с другом, как будто бы были обычными людьми, но для моих ушей их беседа звучала так, как будто заговорили мамонты в музее.

У меня еще сохранилась привычка, в большей степени свойственная тем, кто пробыл в больнице уже много времени, придавать невероятное значение каждому слову и движению врачей, упоминанию о семьях и имуществе, и я стояла там, сбитая с толку самим фактом их речи, и пыталась внимательно выслушивать какие-то пророчества и обещания чудес.

Доктор Стюард рассказывал: «Шоколадные конфеты у меня в доме просто не выживают. Жене приходится их прятать, чтобы я не съедал все сразу».

Ничего необычного, казалось бы. Но я поймала эти слова и дорожила ими, хотя предназначались они и не мне, а были обронены, чтобы стать знаком, как крошки, которые Гензель и Гретель бросали, чтобы найти потом выход из дремучего леса собственной сущности. Однако же я была подобна маленьким птахам и склевывала их все,

хотя они и не предназначались для меня.

Врачи обсуждали крикет, повышение зарплаты, списки и расписания, интересные дела, которые рассматривались в судах, и никто, кроме доктора Портмана, и не заподозрил, что я прислушиваюсь.

«Истина, вы бы не могли выйти, пока мы разговариваем?»

Вопрос его прозвучал как приказ. Он стоял спиной к очагу, забирая долю тепла каждого из присутствовавших. Его черные волосы, недостаточно напомаженные с утра, стояли торчком, словно петушиный гребень. Он налил немного чая в блюдце и нагнулся, чтобы дать его своей собаке Молли, его компаньону во время прогулок, обходов, приема пищи и хозяйкой переднего сидения в машине.

Я вышла. С того момента без лишних слов было понятно, что я не оставалась стоять у раковины, чтобы послушать беседу богов.

Разговор — это стена, которую мы сооружаем, чтобы отгородиться от остальных, зачастую прибегая к избитым банальностям, которые блестят, подобно драгоценным камням, но на самом деле не более чем осколки использованных бутылок, попавших в кладочный раствор и теперь отража-

ющих солнечный свет.

Иногда я воображала, что доктор Трейс подойдет ко мне и скажет: «А вот и картинки, Истина. Рассказывай свои сказки».

И я так часто это себе представляла, что сами картинки приобрели в моем воображении огромные размеры, мои истории тянулись и тянулись и я почувствовала раздражение, когда однажды меня выдернули из мира грез вопросом: «Истина, помните, я собирался показать вам несколько картинок?»

Дедушка Трейс, подумала я, стоит согнувшись над цветками картофеля, в мешковатых, лоснящихся на седалище штанах и с глазами голубого цвета, как каемочка самой лучшей чайной чашки. Потом я осознала, что это же доктор Трейс и он говорит мне, что покажет наконец картинки, и спрашивает, не забыла ли я.

Мое сердце быстро заколотилось от восторга, когда в голове одна за другой начали происходить истории, как будто кто-то запустил этот поток, повернув переключатель.

«Да-да, — ответила я, — помню».

Он закрыл книгу, которую читал в обеденный перерыв. Это было «Большое путешествие Босуэлла».

«Ну что ж, — сказал он, — обойдемся без них. Это займет слишком много времени. А его нет».

34

В углу общего зала четвертого отделения стоял шкаф-витрина, в котором хранили не коктейльные бокалы, не фарфор, не окаменелости, не подписанные морские водоросли на подложке из зеленого плюша, а три книги — давних жителя верхней полки; нижние предназначались для мигрирующих жильцов, которые каждый месяц из больничной библиотеки приносил пастырь. Этими тремя книгами, еще не прочитанными, насколько я могла судить, были «Девушка из Лимберлоста», «Мотыльки Лимберлоста» (помнится, мама однажды назвала ее «чудесной книгой») и пыльный том «Из бревенчатого в Белый дом» с фронтисписом, изображающим благородного будущего президента Гарфилда после драки с одним из своих одноклассников.

В порыве великодушия, свойственного победителю, он протянул свою ладонь и сказал: «Мерфи, дайте нам руку».

Иногда кто-то из пациентов подходил к шкафу, вытаскивал одну из книг, быстро перелистывал страницы, как карточный шулер, собирающийся раздавать, затем закрывал книгу и возвращал ее

на место. Книги, которые приносил священник, были напечатаны крупным шрифтом, в них было много картинок, персонажами были дети или молодые люди, которые поступили плохо, и были наказаны, и поняли, что деяния их были злыми, или которые творили добро, но умерли и попали в рай. Хороших персонажей, вроде тех героев в белых шляпах и на белых конях, что нам показывают в вестернах, можно было узнать по золотым волосам.

Большинство из этих книг были старыми призами, изначально пожертвованными воскресной школе местными жителями, на внутренней стороне обложки красовались тисненые надписи золотыми буквами (с ангелочками, выглядывавшими из-под переплетенных ветвей жимолости или клематиса) «Присуждено Лили Стивенс за примерное поведение» или «В подарок Торну Робсону за успехи в учебе». Датированы книги обычно были концом девятнадцатого или началом двадцатого века, поскольку, несмотря на постепенное принятие «нового» подхода, все еще господствовала идея, что психическое заболевание — это форма детского непослушания, которую можно вылечить методами Викторианской эпохи: убедительными суровыми речами

и назидательной литературой. И хотя собрание книг было новым и продолжало расти, пастырь настойчиво приносил нам призы из воскресной школы, которые могли бы показать нам, что такое «добро», и научить, в чем же сокрыто зло наших поступков. Была и еще одна причина, по которой он выбирал старые книги; он не верил, что мы будем заботливо обращаться с новыми красочными изданиями. Он был убежден, как и большинство других людей, что душевнобольные по своей природе склонны к разрушению, и если бы у него был выбор, думается, он давал бы нам книги, сделанные из ткани и деревянных пластин, какие дают малышам, как дают собакам для забавы кости.

Каждые три месяца фургон Сельской библиотечной службы заезжал в больницу и оставлял около шестидесяти книг всех категорий, которые подбирал священник или сотрудники офиса, возможно, врачи или эрготерапевты, гораздо реже медсестры или санитары, которые занимали в местной социальной иерархии низшую ступень.

И вот однажды я мыла и вытирала чашки и смотрела из окна на центральную лужайку, когда подъехал фургон библиотечной службы, библиотекарь вышла и открыла задние двери, и там

почти в пределах моей досягаемости были полки, забитые книгами в ослепительных-манящих-строгих-жестких обложках, тонкими брошюрами с репродукциями художественных произведений, увесистыми сагами американского Юга.

Я ощутила воодушевление, смешанное с тоской и предчувствием чего-то недоброго, которое я впервые испытала, когда мне было десять лет и я записалась в городскую библиотеку (внушительно именовавшуюся «Атенеум и институт механики»), в которую невозможно было войти, не минуя злобного чучела моа, стоявшего у подножия лестницы, и острой на язык библиотекарши, которая была отгорожена от посетителей решеткой, выдавала пропуски, штрафы и книги и присматривала за соседним читальным залом, где сидели пожилые мужчины, превращенные в камень табличкой «СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ».

Должно быть, книги были какими-то чудесными сокровищами, раз получить их можно было, только преодолев столько опасностей, и что предназначены они были только для самых смелых, которые не боялись чучел гигантских птиц со стеклянными глазами.

И то, что были таблички, требовавшие тишины там, где никто и не помышлял о разговорах,

создавало впечатление, что в комнате присутствует кто-то неведомый, которого нужно контролировать и который странным образом объединял посмертие, кропотливо воссозданного моа и похожие на мышат буквы, к которым были подключены провода электрического смысла и которые воскресли словами и теперь картинно позировали на страницах книг. Так что и решетка, и знак на стене были для защиты самой библиотекарши; ей пришлось приложить максимум усилий, чтобы покорить силы, гораздо более грозные, чем робкие абоненты, крадущиеся на цыпочках между стеллажами.

После стольких лет в больнице при виде огромного количества книг я и не вспомнила, что нужно быть бесстрашным паломником, чтобы благополучно пробраться в библиотеку. Я вышла и заговорила: «Я могу заглянуть внутрь и посмотреть, что там за книги?»

Библиотекарь улыбнулась: «Конечно».

Я поднялась по пандусу в кузов и замерла там, пытаясь решить, с чего начать поиск спрятанных слов, чьи кости были спаяны авторами, чтобы создать либо восхитительно-страшный образ истины, которая встанет охранником у дверей чьего-то разума, либо существо, которое,

просуществовав некоторое время обманчиво целостным, рассыпется по порогу иссохшими мертвыми костями, которые в падении даже не вспыхнут пламенем.

Я стояла там, рассматривала книги и грезила, как вдруг в кузов вошел наш проповедник. Он меня узнал. Он видел меня во втором отделении, в парке и во дворе. Быстрым движением он раскинул руки, как будто бы защищая от меня драгоценные книги.

«Выйдите», — сказал он резко.

«Пожалуйста, позвольте посмотреть. Я не буду ничего трогать руками. Обещаю».

Его взгляд стал еще более напуганным.

«Пациентам сюда нельзя. Нельзя сюда пациентам. Выйдите немедленно».

Он оглядывался вокруг, словно искал кого-то, кто мог бы «разобраться» со мной, как обычно разбираются с пациентами, если они проявляют упрямство.

Я вышла. После восторга, который я испытала от встречи с книгами, и последовавшего разочарования из-за того, что у меня отнял возможность взглянуть на них тот, кто, проявив для пастыря удивительную черствость, еще и провел архаичное различие между пациентами и людьми

(«Пациентам сюда нельзя»), у меня на глаза наворачивались слезы.

Вот стояла я там у мойки, тоскливо вытирала чашки и думала, может быть, об обеде, или о почте, или о «птичнике», куда меня все еще отводили на ночь, как вдруг прямо за окном появилась библиотека, и фея-крестная в твидовом костюме не отказала мне в просьбе заглянуть внутрь. Но тут появился злодей и выгнал меня, потому что не вышла статусом, который давал бы право на рассматривание полок. Я была пациентом, и поэтому не заслуживала доверия, несмышленым ребенком, который не может понять, о чем — для чего — книга.

Он видел целые просторы смыслов и лишь один путь, который может к ним привести, и знал, как люди, которых называют «нормальными», могут быстро и с комфортом приехать в те края; но не ведал о потерпевших крушение, которые пробирались туда хитрыми уединенными тропками, и уж точно не догадывался о многих других, которые сами были обитателями тех земель.

Я вернулась в чайную комнату и убрала последние чашки, повесила кухонное полотенце сушиться, выключила бойлер, положила ключи на место, тщательно соблюдая порядок действий,

выдерживая нужный градус мелодрамы, как будто кто-то умер, а я, встав героически на его место, объявила, что его «дело будет жить». Я прикладывала все усилия, чтобы не заплакать.

Священник обращался со мной так, как будто я болела какой-то заразой, которая могла перекинуться на книги. Разве был он прав? Я вернулась в свое отделение, прошла в общий зал и осталась наблюдать привычную гнетущую сцену, как одиноко сидели укутанные мороком старушки и растерянные новые пациентки пытались привыкнуть к мысли о том, что теперь они в Клифхейвене, где запирают двери и камины, где окна открываются лишь на шесть дюймов, где медсестры командуют: «Дамы, в общий зал», «Вставайте, дамы», «По кроватям, дамы».

Медсестра крикнула мне: «Вас зовет старшая медсестра!»

Что я натворила? Меня опять переводят во второе? Меня хотят забрать, чтобы обрить голову и подготовить к операции, несмотря на указания доктора Портмана?

«Вас зовет сестра Хани! Шустрее».

Старшая медсестра стояла за сервировочным столом, укладывала на доску кусок ростбифа, чтобы затем его нарезала главная медсестра. Она

сказала, что только что звонил доктор Портман, он хочет, чтобы я немедленно подошла к нему в кабинет.

Значит, доктор Портман передумал, решил, что нужно просверлить у меня в голове две дырки, чтобы моя негодная личность, как перелетная птица, улетела в другую страну и никогда больше не возвращалась, даже весной, когда распускаются цветы на вишневых деревьях и тонкая дикая слива белеет над заборами загонов для скота.

Мне было страшно, к главному входу в больницу я пошла одна; я ждала в широком холле с отполированными поверхностями под взорами бывших администраторов, филантропов и деревенских советников, смотревших с весомо прописанных портретов в коричневых и бордовых тонах, когда с улицы вошел доктор Портман и поспешил ко мне. Он был взволнован, на щеках его проступили красные пятна.

«Идемте к библиотечному фургону, Истина», — поторопил он.

Мы подошли к машине. Он поднялся по пандусу и кивком головы пригласил за собой. По-королевски приосанившись, я поднялась в кузов. Он пояснил, что для больницы нужно выбрать около шестидесяти книг, и не буду ли я столь любезна,

чтобы ему помочь.

Священника и след простыл. Интересно, что бы сказал этот злодей, если бы увидел, что в запретном замке меня привечает упитанный, громкоголосый, интеллигентного вида, прозорливый принц.

Позабыв про формальности и обед, мы сидели на полу маленькой библиотеки и выбирали книги. Иногда доктор Портман зачитывал вслух отрывки и выводил на свет свои потускневшие воспоминания. Ближе к вечеру я вернулась в свое отделение, счастливая до головокружения. С того дня я начала ощущать, что где-то внутри меня был запас тепла, из которого я могла черпать, когда мне была нужна помощь, подобно тому как в зимний день достают уголь из погреба, когда выпадает снег или ночью ударяет мороз, от которого чернеют цветы и вянут недавно завязавшиеся плоды.

Я все чаще стала гулять сама по себе и однажды дошла до сельского магазинчика, который был на территории больницы, и купила себе банку арахисовой пасты. Я часто вспоминала пациенток из второго отделения, и по пути в магазин шла мимо их «грязного» и «чистого» залов, и Бренда в своем полосатом платье подбиралась к окну,

чтобы поздороваться:

«Здравствуй, мисс Истина Мавет». Она надувала губки и затем улыбалась. Если она находилась в «чистом» зале, она играла для меня на пианино, если, конечно, мистер Фредерик Барнс ей позволял. А Кэрол садилась на корточки у окна и рассказывала мне последние новости о своих планах «обжениться» и новых придумках для свадьбы, которая в конце концов должна будет состояться не с посвиненком или кем-либо из пассий Хилари, а с незнакомцем. «Волшебным вечером однажды повстречаешь незнакомца…»

«Незнакомцы лучше всего подходят, — рассказывала Кэрол. — Для брака они идеальны. Они и известные актеры. Мне приглянулся один мужчина на радио — Рой».

Рой был радиодиктором, который вел воскресные программы по заявкам слушателей, которые контролировали Хилари и Кэрол; их любимой новинкой по-прежнему оставалась песня «На вершине Олд-Смоуки».

Где-то, где на горных склонах серебрится белый снег,

Я любовь свою утратил, потому что был несмел.

Снова и снова жизнь, казалось, зависела от того, насколько охотно мы готовы дарить другим свое тепло; можно только догадываться, что все закончилось тем, что его возлюбленная лежала замерзшая на вершине Олд-Смоуки. Пока я разговаривала с Кэрол, к окну подходила и Моди, чтобы молвить свое слово, поскольку одной из ее обязанностей в качестве Господа была обязанность комментировать происходящее во втором отделении.

«Под окном стоит Истина Мавет. Истина Мавет разговаривает с Кэрол. Низвергнута будешь, Истина Мавет».

Заглядывая в окно, я чувствовала уныние и безнадежность оттого, что там все оставалось по-прежнему. Жизнь так похожа на одну из тех детских игр, когда много-много раз закрываешь и открываешь глаза, ожидая, что все изменится: новый город со стеклянными башнями, накрыты яствами столы, доброжелательный лес, где деревья больше не наносят путникам удары или перекручиваются страшным образом, создавая жуткие силуэты.

Во втором отделении не менялось ничего. Первый чай, дамы. В уборную, дамы. По кроватям, дамы. Кровати. И торопливый переход под

вырезанными звездочками и холодным небом к унылому Кирпичному Дому, и пропитанные мочой полы, и пропахшие соломой комнаты, и бесконечные вечера и ночи.

Разве нельзя использовать свою волю, как живой молот, чтобы заставить форму измениться?

Я не могла прекратить думать об обитательницах второго отделения: Бренде, Зои, Моне, Моди; об абсолютной отстраненности Эсме, о том, как она сидит в луже в углу, натянув свое полосатое платье на голову, без штанов, с босыми ногами, а ее черные глаза блестят на бледном лице сквозь горловину; о звериных криках, о птичьем языке. И о сокрытых жителях первого отделения: детях, старухах, идиотах, иссохших азиатках неопределенного возраста, коренастых, верных своим традициям, перебегающих мелкой рысью туда и обратно, выполняя простые поручения, поглощенных созерцанием чего-то, что ни они сами, ни кто-либо другой никогда не поймут. И о пациентках, которые, как обнаруживается при переодевании, чтобы ложиться спать, крепко сжимают в пальцах что-то, что они отказываются отдавать, как будто говорят, вы можете забрать синее платье в полоску, и растянутые байковые штаны длиной до колен, и серые шерстяные боль-

ничные чулки, и полосатую рубаху с V-образным вырезом, проходящую в учетных документах под названием «сорочка», но это: стебелек травы, который я сорвала для себя в парке, кусочек фольги от шоколадки, клубок волос, который я нашла на полу в ванной, — мое сокровище, которое придает смысл долгому сидению, согнувшись в три погибели, с руками на коленях, переводя взгляд с пожелтевшей травы в парке на солнце в небе — на того самого лорда, что не имеет земель, в Белом Зале Короля, я вам не отдам.

35

«Если так и будет хорошая погода, — сказала медсестра, — завтра откроют площадку для боулинга».

Смеркалось в позднем октябре. Я сидела на широком подоконнике в общем зале и смотрела на клубы деревьев, в которых постепенно расселялась бездомная темнота, только что прибывшая и, убрав свою черную палку с узелком, располагавшаяся в уголках, и в листве, и в дуплах, и у стен; свет все еще оставался на лужайке и у горизонта, а дрозды, больше похожие на галлюцинации, то прыгали, то замирали, склонив голову набок, прислушиваясь к тайным голосам. Юркие черные птицы вспархивали с восторженным щебетанием, перелетали с дерева на дерево, скользя над землей, или ныряли вниз, туда, где розовые черви средних лет, окольцованные нательными поясами, вязали у своего очага из тлена и гадали, не пойдет ли ночью дождь, не выгонит ли их из жилища, не утопит ли их самих.

Я была увлечена своими мыслями и видом из окна и не слышала, что сказала медсестра. Площадку для боулинга? Скоро я должна была уехать

домой, и примитивные церемонии перестали меня интересовать. В тот день, подав доктору Стюарду утренний чай со сконами и джемом, я спросила: «Когда мне разрешат вернуться домой?», и он ответил: «Думаю, в любое время, если есть кто-то, кто готов вас к себе забрать».

Не обращая внимания на скрытый смысл условного предложения, я ответила, что у меня, конечно же, есть кто-то, кто готов меня «забрать». Кто мы такие, можно ли думать, что изменились, когда больше не считаем своим самым большим сокровищем зажатый в ладони стебелек травы или фольгу от шоколадки, а предпочитаем так же крепко держать в своем сердце людей? Здоровы ли мы тогда? Можно ли сказать, что есть улучшения, когда перестаем направлять свою любовь на котомку из розового кретона, с узором из роз, и пускаемся на поиски людей, которых можно было бы подвесить у себя внутри, затянув шнурок вокруг их шеи, и носить их с собой повсюду, не отпуская даже во сне и мечтах? Да, я знала, что моя семья готова меня «забрать», и знала, что теперь они были для меня чужими людьми, что моя мать была птицей, а отец изображением на песчанике, а весь мир миром снов, где люди свободно просыпаются, и работают, и любят, и

спят, и постоянно находятся в движении, как йо-йо, когда раз за разом веревка возвращает их к центральной точке — в тюрьму их собственной неуверенности. Во тьме разукрашенных яркими красками, полосатых, напоминающих ярмарку дней, их сердца холодеют от страха, когда они видят, как злой фокусник ослабляет те цепи, которые должны крепко связывать их с самими собой. Ведь они существуют обособленно внутри своих смирительных сущностей, из которых не могут выбраться, подобно детям, которые, играя в прятки, не осмеливаются покинуть свое укрытие, потому что опасаются, что попадутся, заявят себе самим и всем окружающим, что они и есть тот самый преступник, зачинщик всех бед.

Что мне делать, думала я, если я вернусь домой? Я не могу прожить всю жизнь, убегая в сосновые рощи и сплетничая с сороками за утренним чаем в свитом из тонких перышек магазинчике уцененных товаров, и опасаясь, что кровавый прилив заполнит туфли моей матери, которые стоят пустыми колыбельками в шкафу, и что отец вперит свои глаза из песчаника в завтрашний день и ослепнет или превратит само время во тьму.

Я подумала, стану ли я облаком?

Да, мои родные заберут меня, и мир примет меня с распростертыми объятиями, как одно из тех существ, утыканных железными шипами, которые в фильмах ужасов душат своих жертв в объятиях.

«Замечтались, — сказала медсестра. — Я говорила про церемонию открытия площадки для боулинга».

Открытие площадки для боулинга было одним из ежегодных мероприятий; оно проводилось в начале лета на лужайке на холме, рядом с корпусами, где располагались мужские отделения, и сопровождалось стандартной пирушкой, на которой раздавали сэндвичи, пироги и газировку. Когда медсестра сделала анонс, никто в четвертом отделении не выразил особой радости, но когда позже вечером я проходила по коридору, чтобы заглянуть к Сьюзан и поздороваться, я увидела, как миссис Пиллинг в своей комнатке заботливо вешает свое лучшее платье на спинку стула. Когда она заметила меня, посмотрела на меня виновато и поспешно закрыла дверь. Она знала, что при всем безразличии остальных пациентов для тех, кому предстояло жить в больнице до самой своей смерти, открытие площадки для боулинга было настоящим праздником. А еще

я видела, как миссис Эверетт снимала с огня в столовой два старых утюга и счищала с них гарь; и легла спать пораньше, не задерживаясь для того, чтобы помочь с горячим молоком на ночь; только они с миссис Пиллинг и были воодушевлены и, казалось, говорили себе, как уговаривают детей родители: «Лечь надо пораньше, завтра трудный день».

Однако церемония продлилась всего полчаса.

День был холодный, с клочьями серых облаков на небе и холодным морским ветром; небольшой группой, бросившей вызов непогоде, мы взобрались на холм за мужскими корпусами и протиснулись через обшарпанный деревянный турникет на площадку для боулинга с оградой из охающих и вздыхающих молодых елей, посаженных для защиты от ветра, и небольшим павильоном с примыкающим помещением, где хранилось снаряжение и было приготовлено угощение. Вид открывался на больничные башни, деревья, море и укрытый дымкой горизонт. Правее площадки, наверху, виднелся новый женский корпус для хронических больных; его здания были выкрашены в ярко-желтый цвет: предполагалось, что он должен был вызывать ощущение счастья, однако вгонял в еще большее уныние тех,

кто выжил, несмотря на тяжесть своей болезни (в отличие от родственных чувств когда-то родных людей), и теперь должен был провести свою жизнь в доме, где согласно рецепту успокоение было компонентом краски пастельных тонов, что покрывала стены, а счастье нарисовано на крыше, как грустная замена ремонта, который не мог быть сделан в человеческих умах и сердцах. Мы стояли рядом с площадкой и ждали. Я сразу с содроганием вспомнила, как кто-то много лет назад показал мне, что за зловещими темными насаждениями хамедафне и кардилины, и покосившимися столбами забора, и заболоченным загоном, где после дойки, размахивая хвостами и пережевывая жвачку, стояли коровы, находилась скотобойня с бетонными полами и ветхими стойлами. «Забивают по средам», — мрачно добавил этот кто-то.

Это была мисс Кэддик. Она умерла во время ЭШТ, потому что не надела шерстяные чулки. «А это скотобойня, — сказала она. А затем, указав на старое облупленное здание, загадочно оглядевшись, она прошептала: — А это Симла».

Симла?

Площадка была ровная, покрытая искусственной зеленой травой. Мне было страшно. Я

смотрела, как группка пациенток из второго отделения в фетровых шляпах и вечерних платьях с энтузиазмом протискивалась через турникет: сначала Кэрол и Хилари; затем Бренда, медленно и осторожно в отсутствие спасительной стены; потом Моди в пальто, которое было слишком мало для ее величественной фигуры; Минни Клив, миссис Шоу, одна или две пациентки из «грязного» общего зала и, наконец, отдельно ото всех шла дама Мэри-Маргарет в своем праздничном тюрбане, которая обычно не принимала участия в празднованиях.

Один из пациентов-мужчин стоял на площадке, сжимая в руках рулетку, не шевелясь, как восковая модель в витрине магазина, напоминая заколдованного сказочного персонажа из тех, что прилипали ко всему, до чего дотрагивались. Другие играли в боулинг у края площадки, где росла неухоженная трава, следя за тем, чтобы шар не выкатывался на поле; среди них был и Эрик, в длинных белых теннисных туфлях без шнурков и в белой панаме на лысой голове. Он объяснял, учил, показывал; очевидно, он знал, в чем состоит секрет игры в боулинг, так же хорошо, как знал, как научиться танцевать, раздавать призы и доставать шелковые платки из цилин-

дра. Я никогда не встречала человека, который разбирался бы в стольких вещах; но, хотя вел он себя так, как будто бы открыл все в жизни красные конверты, оставалось загадкой, что же он в них нашел, и закрадывались сомнения, что не более чем истертые медяки, которые ломались при прикосновении.

Неужели доктор Портман так и не появится, ведь без него не может быть ни церемонии, ни пикника? Вот и доктор Стюард подошел, без жены, но с маленьким сыном на плечах; пациентки смотрели на врача с удивлением и восхищением, особенно не могли оторвать от него глаз, как от чуда, те, что были из второго отделения, — он стоял там со своим сыном, улыбался, разговаривал, в повседневной одежде, не в белом халате, а в тяжелом твидовом пальто, защищающем от холодного ветра, и казался обычным человеком. Как и остальные люди, он, судя по всему, тоже чувствовал холод. Вот он поднял воротник и втянул голову в ненадежное укрытие, а морской ветер, не знавший, что он врач, раздувал ему волосы и щипал за уши и нос — и как только осмелился?

Я видела, как завороженно пациентки из второго отделения смотрели на него, и содрогалась

от мысли, что болезни и больницы превращают обычные события в жизни человека в нечто несоразмерно изумительное. Я содрогалась от этой мысли, потому что была полна зависти: я знала, что лишь несколько вещей: любовь, голод и страх неминуемой смерти — трансформируют небрежно очерченную обыденность в чудо. А еще я содрогалась, потому что знала, что не любовь и не страх неминуемой смерти заставляли пациенток так смотреть на доктора Стюарда и его ребенка; это был своего рода голод, который нельзя утолить ни радужным тортом, ни газировкой на День спорта.

Главный врач прибыл в спортивном костюме, его сопровождала жена в леопардовом пальто, следом трусцой бежала рыжая сеттер Молли. Доктор Портман шел уверенно, по-королевски. Перекинувшись парой слов с санитарами, он вышел на площадку, сначала пощупав поверхность своими элегантными замшевыми туфлями, а затем быстро сняв их, так как знал, что святотатство будет разрешено только после того, как он скажет речь и бросит первый в сезоне шар. Откашлявшись, он произнес привычные слова, которые давались ему легко: заурядные высказывания часто являются тайным средством незаурядных

людей, которые используют их, чтобы побыстрее добраться до цели, а не превращать в место поклонения или жилище.

«С невероятной радостью… Мы собрались здесь сегодня… Знаю, как все вы хотите перейти к угощениям… В этот радостный день…»

Санитар передал врачу до блеска начищенный шар; доктор Портман занял позицию, наклонился к дорожке, отправил шар вперед и объявил сезон открытым под аплодисменты преимущественно дам из второго отделения, которые понимали, что соблюдать ритуалы важно. Остальные зрители направились к павильону, где санитары начали раздавать сэндвичи, пироги и газировку, в то время как врачи удалились в отдельную маленькую комнату, чтобы насладиться собственным пиром, состоявшим из пирожных с кремом и сэндвичей с ветчиной. Мы ели то, что было приготовлено для нас: бутерброды с паштетом и маринованными огурчиками, пироги без начинки, простые пирожные с золотыми сердечками, но без смородинового джема и тарты с дыней, и, хотя некоторые из нас жаловались, что там, «в комнате» еда была вкуснее, пациенток из второго отделения все устраивало: они понимали важность ритуалов и были бы даже встревожены и

в недоумении (сначала), если бы им предложили вычурные угощения.

Теперь выздоравливающие пациенты и пациенты, получившие разрешение на самостоятельное перемещение по территории больницы, начали расходиться один за другим, попутно делая замечания: «Ну и зачем все это было?», «Ой, как будто собирались организовать что-то интересное, а в итоге всего лишь доктор Портман покрасовался и бросил первый шар; в чем смысл?»

У этих временных жильцов лечебницы был солидный и скучающий вид; после вступительной речи хлопали они слегка, не неслись голодной толпой к сэндвичам и пирогам; некоторые даже отказались от принадлежавшей им по праву бутылки газировки. Тем временем в углу павильона Кэрол с энтузиазмом меняла шипучие напитки: выдавала зеленые тем, кто не любил красные, и апельсиновые тем, кому достался лимонный. Мало-помалу по площадке начали ходить мужчины, кидая пробные шары; атмосфера была расслабленной; толпа расходилась. Вскоре не осталось никого, кроме пациенток из нашего отделения, включая миссис Пиллинг и миссис Эверетт, и женщин из второго, которые

все еще развлекались, играя в боулинг вместе с мужчинами, а Хилари и Кэрол получали подробные инструкции, как правильно распределять вес перед броском. Кто-то кувыркался. Неужели миссис Шоу? Снова и снова, пританцовывая, подняв юбки.

Мы, пациенты из четвертого отделения, были в ужасе, а медсестра сказала: «Удивительно, и как только вот таким позволяют выходить в люди». Мне кажется, мы пробормотали что-то в знак согласия. Подняв воротники пальто (собственных, а не мятых больничных с устаревшей меховой оторочкой и защипами на талии), чтобы защититься от дувшего в лицо ветра, мы повернулись спиной к проявлениям раскрепощенности, необъяснимым образом спровоцированным церемонией, и с достоинством, подобающим четвертому отделению, направились вниз по холму к больнице.

Мы? Я немного задержалась. У меня была полная свобода передвижения. Скоро я уезжала домой, потому что моя семья согласится забрать меня. Я задержалась, чтобы выполнить формальности и виновато поздороваться или попрощаться с теми, с кем я была знакома, я прошла мимо люпинов, акаций и кустов утесника, мимо тоскливого отделения, где мужчины (некоторые

все еще в халатах поверх пижамы), для которых погода была слишком холодной, чтобы выходить на улицу, сидели в столовой, уставившись на деревянные столы, не зная и не желая знать, как использовать часы до чая, сна и наступления завтрашнего дня.

Я отвернулась, старалась не думать о них и повторяла про себя то, что сказала мне как-то одна из медсестер: «Когда вас выпишут, вам просто необходимо будет забыть все, что вы здесь видели, полностью выбросить это из головы, как будто бы ничего и не было, и жить нормальной жизнью, как все остальные люди».

Прочитав мой пересказ, вы и сами можете судить, насколько послушно я выполнила ее указания, так ведь?